

родился в
 1948 г. в деревне Усть-Тулатинка на Алтае.
 Окончил Барнаульский педагогический инсти-
 тут. Автор поэтических сборников «Портрет»,
 «Неразменное небо», «Место земли», «Фото-
 робот запретного мира» и др. Сочинения пере-
 ведены на многие иностранные языки, вышли
 отдельными книгами в США, Франции, Японии,
 Дании. Лауреат литературных премий им. Анд-
 рея Белого (1989), им. Аполлона Григорьева
 (1998) и др. Стихи опубликованы во всех вы-
 шедших за последние десятилетия антологиях
 русской поэзии, а также включены в учебную
 программу российских школ.

— совместный проект издательства
 «Наука» и Центра Современной литературы Вадима Месяца.
 Серия книг поэзии, прозы и эссеистики с явным фантазийным,
 мифотворческим началом. Она создана для возрождения
 гуманитарной традиции в отечественной литературе,
 восстановления культурной иерархии с приоритетами
 художественности и духовного поиска, — даже при самом
 дерзком экспериментировании со словом. Имя героя Свифта,
 побывавшего и у великанов, и у лилипутов, и в Лапуте,
 и в Гуингмии, но сумевшего остаться самим собой,
 подчеркивает тот факт,
 что подлинная литература
 создается одиночками,
 а масштаб явления зависит
 от точки отсчета.

НАУКА

ISBN 5-02-033548-7



Иван Жданов

ВОЗДУХ И ВЕТЕР



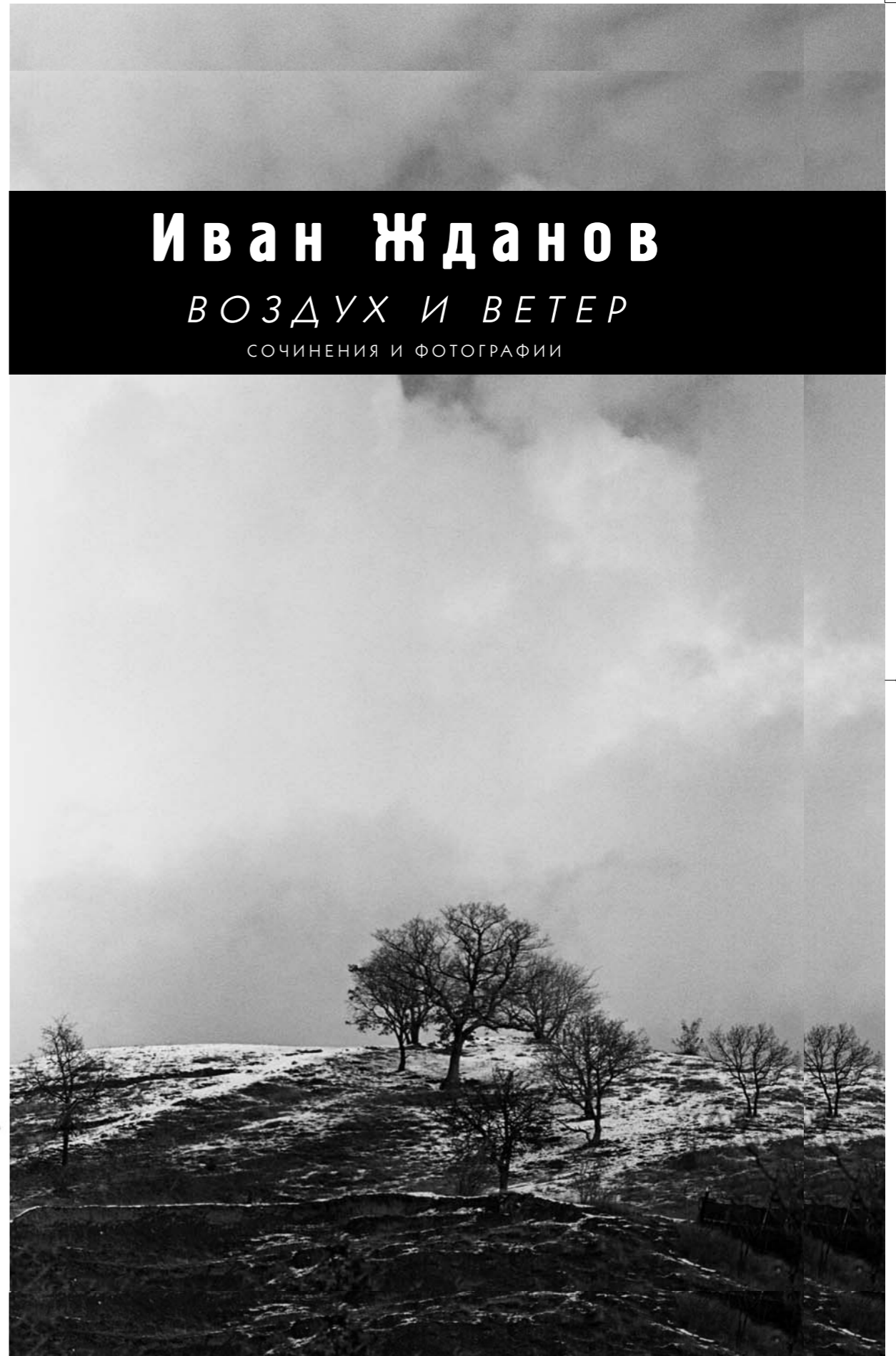
РУССКИЙ
 ГУЛЛИВЕР





Жданов Иван Федорович

«Русский Гулливер»



Иван Жданов

ВОЗДУХ И ВЕТЕР

СОЧИНЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ





«Жданова читать трудно. Он как будто специально отгораживается от случайного читателя. Его стихи нельзя читать походя, и нужно усилие, чтобы войти в его поэтический мир... Жданов пишет без случайных и проходных слов... Он творит настолько плотную поэтическую среду, что нет времени перевести дух, отдохнуть. Словно стерты интервалы между словами, и стихи сливаются в единую словесную ткань».

Николай Александров

«Каждый сегмент мысли [Жданова] претендует на категорическую ясность, но законы смыслового синтаксиса загадочны... Смысловые провалы, «эллипсы», тем очевиднее, что Жданов не работает «колеблющимися» смыслами слов, а повествует. В провалах сюжета или описания зияет, не решусь сказать, глубина, но запредельность, превращающая рассказ в притчу, в попытку прозрения и пророчества».

Игорь Шайтанов

«Память здесь помещена в Космос – который как живое неловкое и вместе с тем большое сказочное существо... помнит в Вечности справедливо, по совести, по жалости, – отсюда такая личная интонация, такой щемящий звук, такая акустика – Эхо».

Инна Ростовцева

«И все же при всей своей внешней строгости и мужественности поэзия Жданова – типичный цветок авангардизма, только в стадии бутона. Психология его авангардизма выражает себя не в архетипе творческого поведения, а в поэтическом образе архетипа, в образе божественного младенца, вольно или невольно утаенного в переплетениях его метафорических ребусов».

Светлана Козлова

«Иван Жданов-фотограф не признается в мастерстве; свою страсть – пейзаж – с отсутствием и человека, и сюжета, делая естественным и личным, сумел запараллеливать «ждановскому»: некоторая легкая торжественность, очарование масштабов и ненавязчивости в лироэпическом формате душеспасения, – да, форма и есть и является в томительную одновременность между всё и всегда. А хоть и в цвете, а хоть и без...».

Владимир Сулягин

РУССКАЯ

ГЛАВЕР



Москва
«НАУКА»
2005

Иван Жданов

ВОЗДУХ И ВЕТЕР

СОЧИНЕНИЯ И ФОТОГРАФИИ

РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР

Серия «Русский Гулливер»

Издание подготовлено *Центром современной литературы*

Руководитель проекта *Вадим Месяц*

Главный редактор серии *Александр Давыдов*

Оформление *Владимира Сулягина*

Собрание стихотворений и эссеистики лауреата литературных премий им. Аполлона Григорьева, им. Андрея Белого и др. Стихи Ивана Жданова переведены на многие иностранные языки и включены почти во все современные антологии русской поэзии, выпущенные как в России, так и за рубежом. Эссеистика впервые представлена в одной книге.

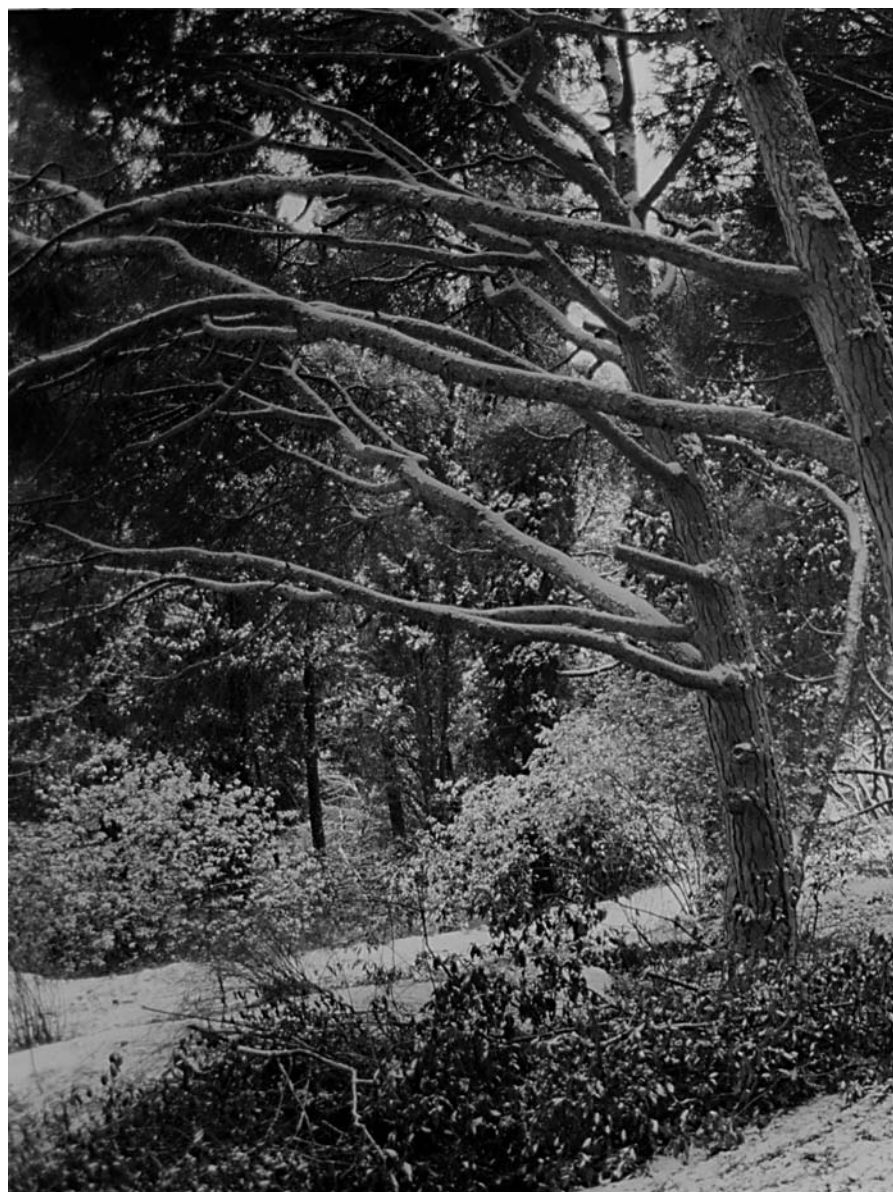
ISBN 5-02-033859-1

© И. Жданов, 2005

© Наука, 2005

© Центр современной литературы, 2005

© В. Сулягин, оформление, 2005





следи за мной, мой первый снег

1968

Следи за мной, мой первый снег.
Я за тобою послан буду,
когда усталый человек
начнет искать тебя повсюду.

Тот человек не я, и лиц
он не менял еще, но все же
среди него не видно птиц,
и это так на снег похоже.

Соломенную кладку полусвета
с морозным утром связывает тихо
снег, сохранивший пристальность воды.

Где снега нет, где лед с начинкой окон,
березового сока сонный шорох
разводы оставляет на стекле.

Лед плавает в воде, как деревянный.
Уже не надо слушаться древесных
намеков, многошумных и немых.

Уже не знаешь, как дышать на стекла.
За этим вдохом снег ли будет таять
иль погружаться в воду талый лед.

Все обретает пристальность воды.

Я не ветка, я только предветвие.
Я не птица, а имя ее.
Я не ворон, но где-то в предветрии
обсуждает меня воронье.

Бог Аполлон живую кожу
задумал с Марсия содрать,
не ход ристалища итожа,
а перед тем, как начинать.

Так ветер фабулы в финале
срывает шкуру с тополей
не для того, чтоб замолчали –
чтоб умолкали веселей.

Когда умирает птица,
в ней плачет усталая пуля,
которая так хотела
всего лишь летать, как птица.

Смех подошел ко мне вплотную,
разбил гортань, заморозил
и душу теплую, живую
в один щелчок опустошил.

И как с костра – за дымом пламя –
и, в пламя пламенем влеком,
он с губ моих пятью перстами
срывал язык за языком.

Спроси у ангела: который
из всех грехов ему – не грех?
Как ивы тихие в озера,
свисали плечи в мертвый смех.

* * *

Когда покой – лишь прошлого значенье,
зачем он день отвергнутый зовет,
бредя наощупь по уступам эха
к предутренней охапке перспектив?
В чем воплотит он беглый свой рассудок?
Глухое эхо втеплено в молчанье,
оно блестит на устной пиктограмме
изрезанного откликами ветра.

Ему ли знать, чей путь его ведет,
земля ли ищет или небо кличет,
чей это голос вынести не смог
неуловимой тяжести обличья.
Кто был здесь? Говорящий человек,
владевший языком членистоногим,
умевший говорить повсюду эхом,
не зная ни молчания, ни речи?

Иль проходило наважденье скрипок,
поющих без смычков под талым льдом,
сопровождавших косяную флейту,
чей голос доносился из крыла,
протянутого в воздух при полете?
Иль шепот оглушенный осязанья?
Иль воздух, перепутавший улыбку
с гримасой отвращения и боли?

И кто б здесь ни был, пусть спешит в рассвет.
Но эхо без свободы и надежды,
как угол, запечатанный в оправу
на нем пересекающихся стен.

Пусть круче соли медленный подъем
груди при вдохе и зрачки белеют
сквозь негашеный сумрак – все плывет,
становится дыханье невесомым,
когда его выталкивает время,
свой голос неспособное узнать.

Там, где снег, от беспамятства черный,
на лету начинает белеть,
Марьин корень на пасеке горной
мреет в бусах лиловых, как медь.

ПОЭМА ДОЖДЯ

Еще остекленевшее дыханье, колючее, как угольный
рисунок, еще не отрешенный от холста, тебе напомнит
привкус хлорофилла, прозрачного в безлиственном лесу, где
мир двоит в присутствии дождя и бережную кровью
отраженья, процеженного отсветами солнца, опутывает
воздух и хранит.

Попробуй отказать ему в величье – в промозглой мордочке
мышинная догадка: он душу может видеть в перспективе,
сжимать ее, чтоб теснота звала к движению. И это ль не
попытка у времени отнять неотнимаемое?

Неукротимое нельзя представить хрупким, но хрящ минуты
тонок и бесследен – ее нельзя вдоль пальца провести. Ее
лишь можно обрести как вечность, способную к земному
воскресенью, назвать собой и выпустить из рук.

Тогда и приближается возможность немного задержать свое
дыханье, явившееся в образе дождя.

Рулоны дня – как легкая повязка на капле дождевой. Вся эта
прелесть собой напоминает заточенье, но это только видимая
связь.

Как будто сопряженные движенья расторгнуты в безмолвном
поединке: отбрасывают тени не предметы, а мысли,
извлеченные на свет.

Так снег умеет пить наискосок свободу взгляда. Не передать
огнем и воздухом, не заучить его побег в уклончивую тьму.

Так в час рассвета белая стена меж окон беззаботна и прозрачна.

Нельзя лишь только правдою назвать свой грех пред временем и этим искупить вину пред ним.

СТОЛ

Домашний зверь, которым шорох стал
и ход лесной, – вот этот стол уютный.
В своей глубине он дикий быт смешал
с возней корней, таинственной и мутной.
И иногда с поверхности его
под шум ветвей, замешанный на скрипе,
как скатерть рук, сползает торжество
медвежьих глаз, остановивших липы,
их мягкий мед, скользящий по стволам,
сквозь лапки пчел, сквозь леденящий запах.
И в этот миг живут по всем столам
немые лица на медвежьих лапах.

* * *

Хотелось вынести из света
ни с чем не смешанную тень
и ждать, чтоб жил на крыше где-то
неначинающийся день.

* * *

Стоишь одна у входа в этот лес,
где каждый лист – потомок ожиданий,
и каждый шаг отчетлив, как последний.

Уже не вдох стоит перед тобой,
а ты на вдохе ищешь равновесье –
так дышат травы, облака и годы.

Лицо дождя, заплаканное в день,
когда он шел, теперь уж просветлело –
его глазами смотришь ты на ветви.

Тыходишь в куб, зеркальный изнутри,
где птичья ночь шуршит в его объеме
и прошлогодний снег щекочет губы.

Как смертный звук, пробившийся из тьмы,
еще незримо, но уже знакомо
слух отстраненный прячется в пылинке.

Не так ли сердце взвешивает стук?



Пришел поэт и рассказал: «В одном северном королевстве, где два моря встречаются на песчаной косе и справляют танец целующихся волн, одиноко возвышается церковь с корабликом под потолком. Она стоит на песке, под которым погребена более древняя церковь. Ее занесло штормами, приливами, и люди не стали ее откапывать. И так потому случилось, что сменилась какая-то вера или что-то сменилось в вере, но до сих пор из-под этих песков временами доносится звон».

Другой поэт рассказал, что когда-то в украинской степи жила-была барыня с единственной дочерью, и суждено было той влюбиться в местного мельника, и не отдала ее барыня замуж, а мельника прогнала со двора. И утопилась несчастная в старом пруду. Позабылись и барыня с дочкой, и пруд закопали, а на этом месте посадили сад. И вот по прошествии сроков случился такой урожай, что все до единого дерева обломились, ветка за веткой под корень, и место с тех пор в запустении.

И третий: «В городке под Москвой построили новую церковь с пышными куполами и крестами. И чтобы птицы не портили их великолепие, на кресты напаяли иголки, длинные, тонкие, острые. А птицы по старинке все равно садятся на них. И уж не одна из них поранилась».

И когда перед тобой кладут кресты на дороге – щепоть за щепотью, – будто солят туман или снег засевают, особенно те, кто давно ни во что не верит, не сомневайся: с тобой говорит твой враг, товарищ по несчастью.

Падает снег на темную воду, тает, как будто воду проходит насквозь, а навстречу ему – из глубины – тоже падает снег, восходит. Там, где им предстоит пересечься, начинается танец взаимоперехода. Танец огня в плоскости схода, взаимовоплощение. Ничто там не меняет масок, не передразнивает друг друга, и как будто ты присутствуешь на празднике во-площения дробящегося, ветвящегося абсолюта.

Вот в перспективах: медведица удаляется, уходит все дальше и дальше, и вот она – созвездие, такое же, как и те, что его окружают. И все звезды так: сначала предмет – потом звезда, абсолют. В начале пути вещи не равны друг другу, непохожи друг на друга; у каждой свое существование, своя данность. К концу пути они – из одной субстанции, да и внешне почти неразличимы, они – праздник подобия, а вместе – целое: небо, свод. Это – завершение пути, устремленного вверх. Но с этого мига и внизу, в начале, все начинает светиться родством – и небо переворачивается. Обратная перспектива: не от точки идут два луча, а к точке, два и даже больше, причем

начало их пути кажется недоразумением. Но это «куда-то» наступает. И вот медведица уже не может существовать без поднимающегося изнутри нее созвездия. Это подлинная, общая история для каждой вещи и для всех вещей вместе. И не спутать бы только небо каждого предмета с тем, которое видится над головой. Оно не только вверху, оно во внутренней приобщенности каждого к космосу.

Ты хватаешься за карандаш и линейку, пытаешься прочертить и свой путь согласно этим путям. А надо бы лишь следовать за ними и видеть, как они идут – неуклонно, в соответствии с волей, туда, на праздник взаимовоплощения.

«Жизнь – водоворот в потоке за камнем» (Шредингер?), только такой водоворот, который строит сам этот камень. Поток – существование материи вообще, движение (присутствие) однородное, изотропное, и вдруг этот камень. Откуда? Ясно, что, если будет брошен в поток камень, будет и водоворот. В неподвижности же нет потока. Стало быть, начало движения предполагает, что камень в поток будет брошен в виду лестницы жертв. Или же наоборот: жизнь-водоворот в потоке за камнем ищет и находит и поток, и камень. Единство – в начале. Начало не временное, а повсеместное – непрерывное, длящееся всегда, всюду. Иначе: зачем водоворот, если для этого нужно все двинуть, вывести из покоя, втянуть в поток? Зачем камень, если достаточно потока самого по себе? Водоворот сам ищет камень и поток. Эта встреча неизбежна, она – Начало. Разлад встречи – блуждание «я» вокруг телесного пространства души. Скажи мне, кто хочет вырвать камень из этого потока...

Ночью – в лесу ли, в городе, где угодно – все равно: в лунную ли ночь, в пасмурный день – звуки ночные и звуки дневные разные. При полном солнечном затмении эффект такой же, как в полночь. Звук и солнечный свет связаны. Но каким образом?

У каждой местности – свое небо (и оно помнит свои облака), своя луна, своя Большая Медведица.

А если предположить, что жизнь человека – одна, то тем более любое умаление ее может выглядеть как насилие, потому что человек – это не только

его физическое присутствие здесь – наличие вообще – это еще и его время, которое, может быть, не собственность его, но и отнимать его у него никто не может – о Боге тут помолчим: Он-то и дает миру человека вместе с его временем.

На этом свете на всех не хватает места – а на том? Сколько угодно!

Вдруг обнаружить в своей руке трешотку прокаженного перед толпой – или посреди толпы сочувствия...

Край спора, граница противостояний – вовсе не игра ума, а взаимодействия континуумов, выплескивающих на поверхность всю мразь демагогии в целях неблагородных. Это как помешательство, стремящееся иметь пристойный, благоразумный вид, столь же нелепый, как и цель спора. Уж лучше совсем расшатать границу (линию) – до бесконечности...

Через слова, предметы, явления истории просвечивает язык. Праязык. И время от времени его слышит слух. Сначала наиболее чуткий. Потом язык становится доступней все большему количеству людей. Вот почему истина, понятная в древности немногим, делается всеобщей впоследствии. Слышится сразу и целиком. Или можно как бы по кусочкам собрать нечто и увидеть как целое (в новейшее время)... Где-то сквозь глубину всех вещей, объединяя их, как ветви одного дерева, просвечивает буквенница этого языка. Есть много способов прочесть его, но смысл его один и тот же во все времена.

Предмет – овеществленное, воплощенное время. А слово, обозначающее предмет? Назвать – значит овеществить, а не развоплотить. Оставить, чтобы находился. Был, существовал, жил. Стал тем, что противоположно небытию. Время овеществляется в предметах, но оно и развоплощает их. Язык, слово дает им жизнь вечную. Правда, есть и другое время: время, которое воплощается в языке. И это даже никакое не сверхвремя. Потому что есть время, которое воплощается и в нем, то есть в том времени, которое воплощается в языке и которое является, в свою очередь, сверхвременем

для того времени, которое воплощается в предметах. Но тут следует остановиться. Вот солнце – оно же предмет, оно – овеществленное время, у него есть имя в языке, а язык – как будто другое воплощенное время, более высшее, что ли, по отношению к тому, которое воплощено в солнце. Но ведь солнце старше своего имени на любом языке и, возможно, проживет дольше любого языка. Как же так? И что если в каждом языке, языке преходящем живет язык вечный?

* * *

...возникает искушение оставить полотно, растянутое на палках, без вышивки, а холст на подрамнике без письма... Есть образ (стереотип) картины: вот холст, на нем должно быть что-то нарисовано. Это, как если есть сосуд, то он должен быть чем-то заполнен. Диктат формы, инерция условного долженствования. Поэтому и возникает иллюзия, что достаточно одного холста (полотна), чтобы дать представление о семантике... В голом холсте уже присутствует семантика, отсылающая к образу живописи с этойкой большой буквы. Отсюда – возможность оппозиции, которую можно обыграть и иронически; но этот иронический «протест» против самого стереотипа неконструктивен: ибо форма, материя (звук, краска, слово) преодолеваются в искусстве, где нет места оппозиции... Ни пессимизма, ни оптимизма – а есть нечто превышающее как то, так и другое.





внутри деревьев падает листва

1971

ВЗГЛЯД

Был послан взгляд – и дерево застыло,
пчела внутри себя перелетела
через цветок, и, падая в себя,
вдруг хрустнул камень под ногой и смолк.
Там тишина нашла уединенье:
надрезана кора, но сок не каплет
и яблоко надкусанное цело.
Внутри деревьев падает листва
на дно глазное, в ощущение снега,
где день и ночь зима, зима, зима.
В сугробах взгляда крылья насекомых,
и в яблоке румяно-ледяном,
как семечки, чернеет Млечный Путь.
Вокруг него оскомины парит,
и вместе с муравьиным осязанием
она кольцо срывает со зрачка.
В воронке взгляда гибнет муравей,
в снегу сыпучем простирая лапки
к поверхности, которой больше нет.
Там нет меня. Над горизонтом слова
взойдут деревья и к нему примерзнут –
я никогда их не смогу догнать.
Там тишина нашла уединенье,
а здесь играет в прятки сам с собою
тот, кто вернуть свой взгляд уже не в силах,
кто дереву не дал остаться прахом,
Иуды кровь почувствовав в стопе.

КРЕЩЕНИЕ

Душа идет на нет, и небо убывает,
и вот уже меж звезд зажата пятерня.
О, как стряхнуть бы их! Меня никто не знает.
Меня как будто нет. Никто не ждет меня.
Торопятся часы и падают со стуком.
Перевернуть бы дом – да не нащупать дна.

Меня как будто нет. Мой слух ушел за звуком,
но звук пропал в ночи, лишая время сна.
Задрал бы он его, как волка на охоте,
и в сердце бы вонзил кровавые персты.
Но звук сошел на нет. И вот на ровной ноте
он держится в тени, в провале пустоты.
Петляет листопад, втирается под кожу.
Такая тьма кругом, что век не разожмешь.
Нащупать бы себя. Я слухом ночь тревожу,
но нет, притихла ночь, не верит ни на грош.
И где-то на земле до моего рожденья,
до крика моего в мое дыханье вник
послушный листопад, уже мое спасенье.
Меня на свете нет. Он знает: будет крик.
Не плещется вода, как будто к разговорам
полузаснувших рыб прислушиваясь, и
то льется сквозь меня немеющим задором,
то пальцами грозит глухонемой крови.
Течет во мне река, как кровь глухонемая.
Свершается обряд – в ней крестят листопад,
и он летит на слух, еще не сознавая,
что слух сожжет его и не вернет назад.

БАЛЛАДА

Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвет живую нить.
Опускает в сердце крылья,
между ребер шелестит
и порывами бессилья
неотступное двоит.
А глаза в холодной схиме,
и нельзя никак прочесть
там созвездьями иными
в буквы сложенную весть.
Не намеренно – случайно –

воздух клюва пригублю,
настороженную тайну
ненароком разделю.
...Вот по плачущей дороге
семерых ведут в распыл.
Чью беду и чьи тревоги
этот воздух сохранил?
Шестерых враги убили,
а седьмого сберегли.
Шестерым лежать в могиле,
одному не знать земли.
Вот он бродит над землею,
под собой не чуя ног,
мерой Бога именно
бесконечно одинок.
Снегопад бывает белым
и не может быть другим.
Только кто же мажет мелом
в сон свивающийся дым,
если в мире, в мире целом
только он и невредим?
Он идет, себя не пряча
в исчезающей дали,
потому что тех убили,
а его убить забыли
и случайно сберегли.
Сберегли его, не плача,
память, птица, пар земли.

Во дворе играют в домино,
молчаливы флейты папирос,
сквозь дымок качается окно
дома, обреченного на снос.

На балконе сушится белье,
наизнанку вывернутый быт,
разбинтованное бытие,
откровенное, как инвалид.

Старый стол простужено скрипит,
схваченный гвоздями домино,
слева сердце или дом дрожит,
флейтам в такт качается окно.

КОНТРАПУНКТ

Останься, боль, в иголке!
Останься, ветер, в челке
пугливого коня!
Останься, мир, снаружи,
стань лучше или хуже,
но не входи в меня!

Пусть я уйду в иголку,
но что мне в этом толку?
В ней заточенья нет.
Я стану ветром в челке
и там, внутри иголки,
как в низенькой светелке,
войду в погасший свет,
себя сведу на нет.

Но стоит уколиться
кому-нибудь, как вдруг
свет заново прольется,
и мир во мне очнется,
и шевельнется звук.

И вспрянут где-то кони,
спасаясь от погони
беды, пропавшей в стене,
в лугах теряя след.

Нет лжи в таком обмане.
И топот, скрытый в ране,
копытами раздет.

Табун с судьбой в обнимку
несет на гривах дымку,
и на его пути
глядят стога из мрака,
как знаки зодиака.
Ты их прочти.

Но, преклонив колена
в предощущенье плена,
иголку в стоге сена
мне не найти.

ПЛАЧ ИУДЫ

Иуда плачет – быть беде!
Печать невинного греха
он снова ставит на воде,
и рыбы глохнут от стиха.
Иуда плачет – быть беде!
Он отражается в воде.
И волны, крыльями шурша,
и камни, жабрами дыша,
следят за ним.
Твердь порастает чешуей,
и, поглощаемый слезой,
твердеет дым.

Иуда плачет – быть беде!
Опережая скорбь Христа,
он тянется к своей звезде
и чувствует: она пуста.
В ней нет ни света, ни тепла –
одна промозглая зола.
Она – не кровь и не вода,

ей никому и никогда
не смыть греха.
И остается в голос свой
вводить, как шорох огневой,
упрек стиха.

* * *

Дождя отвесная река
без берегов в пределах взгляда,
впадая в шелест листопада,
текла в изгибах ветерка.

Она текла издалека
и останавливалась где-то.
И, как в мелодии кларнета,
в объем вступали облака.

Я не видал подобных рек.
Все эти заводи, стремнины
мне говорили: без причины
в ней где-то тонет человек.

И лужи, полные водой,
тянулись вверх, когда казалось,
что никому не удавалось
склоняться, плача над собой.

* * *

Мелкий дождь идет на нет,
окна смотрят сонно.
Вот и выключили свет
в красной ветке клена.
И внутри ее темно
и, наверно, сыро,
и глядит она в окно,
словно в полость мира.

И глядит она туда,
век не поднимая, –
в отблеск Страшного суда,
в отголосок рая.
В доме шумно и тепло,
жизнь течет простая.
Но трещит по швам стекло,
в ночь перерастая.
Это музыка в бреду
растеряла звуки.
Но кому нести беду,
простирая руки?
И кому искать ответ
и шептать при громе?
Вот и все. Погашен свет.
Стало тихо в доме.

* * *

Душа проснется, и тогда
заплачет поляя вода:
найдет сестрица братца,
а нам пора прощаться.

И вздрогнет на воде кольцо,
с козлиным профилем лицо
мелькнет и улыбнется.
Сестрица отзовется.

Вот в шепот сыплется листва,
она мертва, она права.
Что ей теперь приснится?
И нет нигде копытца.

Один стакан, и тот разбит,
со дна Аленушка глядит,
и ветер шепот шевелит.
мы молча в шепот сходим
и там себя находим.

Здесь нас поддерживает свет,
и на двоих разлуки нет.
Найдет сестрица брата,
а нам пора прощаться.

Такую ночь не выбирают –
Бог-сирота в нее вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.

И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут.
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.

В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней – и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука.

Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

По ходу солнца в том краю,
где солнце гаснет в вышине,
там тень от клена на стене
раздвинет комнату мою.

Замедленное яблоко не спит,
украденное облако не тает –
в другие времена оно летит,
а в этих временах оно летает.

Невнятное, как вольный парадиз,
оно уже о том напоминаеь,
что создано когда-то сверху вниз
измученное славой мирозданье.

И воздух перекошенным стоит,
когда его отсутствием питает
не облако, которое летит,
а облако, которое летает.

Так ночь пришла, сближая все вокруг,
и, в собственные тени погружаясь,
ушли дома на дно прикосновений.

И бой часов был переплавлен в тень,
дающую немое представленье
о медленном смещенье расстояний.

Казалось, никого не обходило
присутствие погасшего огня.

И был лишь тополь где-то в стороне,
он был один запружен очертаньем,

он поднимал над головой у всех
порывистого шелеста причуду,
дотягиваясь пальцами до слуха,
как слог огня, пропавшего в огне.

Его превосходила глубина,
он был внутри нее, как в оболочке,
он выводил листву из берегов
и проносил на острие движенья
куда-то вверх, куда не донестись
ни страху, ни рассудку, ни покою.
Где ночь переворачивала небо,
одной звездой его обозначая.



МНИМЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Сверхгород – это сверхниша, а ниша – обманчивое пространство, обиталище, где можно как будто укрыться. Ниши чаще всего пусты, город заполнен ими, это толпы дверей, никуда не ведущих. Но есть города, где в их мнимых пространствах можно увидеть того, кого называют небесной дверью, снисшедшей на землю. Ниша – тайник, стена и не стена, пауза в стене, призрачное пространство. Не надо искать где-нибудь в мироздании место, где пространство и время совмещены в одно – войди в нишу и ты почувствуешь, что это место здесь.

Войди – и ты отождествишься с ней: станешь кирпичом в стене, частью стены.

Ниша – сакральный символ: там мог бы стоять царь, а это узел и замок мира, отделяющий порядок от хаоса. Но ниши призрачны. Любой ключ, сделанный наугад, мог бы к ним подойти, но нет у них замков. Ниша, забранная решеткой, – у-у, страх! – тюрьма. Свет, попадая туда, кружится, как в водовороте. Поставь кого-нибудь в нишу, и от него можно спрятаться, потому что тот видит только перед собой, как прожектор или как лошадь в шорах: шаг в сторону – и ты незрим для него.

Пространство ниши не ведает о размерах: в нее можно поместить все что угодно: от Кремля до иголки, потому что там все становится декоративным, игрушечным. Если человек открыт, как Адам, любопытен, а мир для него загадочен, деятелен и скульптурен, то ниша – это скульптура наоборот, наизнанку, и нет такой дороги, по которой она бы двинулась к какой-нибудь цели. Ниша – тупик, и в душе каждого их множество. Возвестивший о том, что все люди – братья, рушил стену с нишами, и в этом ответ на вопрос: самоубийцы ли пророки? Выйти из ниши страшно, но сделай шаг – и ты увидишь, что этих ниш тысячи. Вот негерой, занимающий нишу героя, вот нецарь, занимающий нишу царя, вот не пророк, занимающий нишу пророка. Самозванец – тот же самоубийца, потому что самовольно занимает нишу царя, или героя, или пророка. Он идет на подлог: начинает со лжи, которую представляет как правду, потом сам верит в это как в правду. Самоубийца уравнивает себя с началом жизни. Занимает место, нишу этого начала. Дальше нет ничего, никакого начала: жизнь равноправна с ним и равна небытию.

Но кто добровольно может покинуть свою нору, выйти на склон горы, изрытой гроздьями нор? Ведь если ниша твоя позади – пред тобою стена изначальная, нерушимая, та, что не ограждает и удаляет, а все делает близким. Перед стеной ты свободен и не ограничен нишей своего существования. И ты не вмурован в нее, как в последнюю инстанцию, и нет в ней ничего последнего.

Ниша противоположна столпу, а столпничество абсолютная исповедальность. От пещеры одна ветвь привела к дому, а другая к нише, но обратной дороги нет, и если возможна она, то приведет к печи, потому что пещера (печь, печора) – одного корня с печалью. А столп – это радость и утро, а утро – это утроба, откуда рождается свет, день и солнце.

* * *

Три измерения времени и три – пространства. Триединство – форма обозначения человеком мира и себя в мире. Это еще вопрос: просто ли это обозначение, то есть название, то есть принятие условностей, или это что-то большее. Допустим, собаке наплевать на все эти измерения и сколько их там – она просто существует и все тут, а сколько их на самом деле – в человеческом разумении может не быть той разрешающей способности, как у киноплетки светочувствительности. Может, человеку достаточно и того, что он способен различить, хотя... О. Конт ведь ставил крест на возможности химического анализа звезд, а через год был изобретен спектроскоп. Изменение разрешающей способности – это сила, способная привести к изменению всей картины мира. А это может привести к потере стационарности мира. Мироздание, по Аристотелю, просуществовало две тысячи лет, по Ньютону, – двести лет, по Эйнштейну, -устаревает на глазах. Качественное состояние парадигмы стало движущимся. Всякий, кто хочет видеть себя со стороны, ищет прежде всего зеркало. Вот это стремление – отразиться, найти зеркало – и есть движущее стремление парадигмы. Движение ее в прошлом было малозаметным и не столь заметным, как теперь. То есть если что и остается «стационарным», так это стремление понять себя и мир. И что такое мир в смысле сторонности, оторгнутости, абстрагированности от человека? Если сознание способно абстрагироваться от своего «я», и это «я» может находиться в любой точке пространства тела, то почему бы этому «я» не обнаружиться не только тогда, когда пространство тела испытывается болью или чем-то противоположным, но и когда этому испытанию подвергается пространство, как будто с телом не связанное? Так оно и происходит в том случае, когда «я» способно отождествиться с другим человеком (материнство, любовь, сострадание) или территорией (Родина, край, земля). Это ведь тоже картина мира, и достаточно стационарная. Но грозит ли этой картине движение парадигмы, то есть теряют ли смысл те ценности, которые выношены вековым опытом? Нет, ведь все эти ценности вызваны желанием отразиться, понять себя, осознать свою форму. И, стало быть, такая стационарность не вызывает сомнений. Она лишь подвергается испытанию со стороны изменчивости парадигм. Что-то, конечно, меняется и в этой картине в той степени, насколько она зави-

сима от этической установки. Но неизменно одно: зависимость меры отождествления «я» с чем-либо, что не входит в зону твоих биологических, социальных, духовных и прочих интересов, с этой парадигмой, которую извечно называли нравственным законом.

Кьеркегор: «Если этическое есть высшее, то Авраам погиб». Средоточие «я» в Боге таково, что «я» растворяется, лишается личностного начала, самосознание заменяется другим, «парадигматическим» сознанием, близким, может быть, к коллективной норме, хотя коллективная норма это не только не нравственный закон, но даже и не религиозное сознание. При этом твоё «я» принимает эту норму путем внушения, воспитания (внушаемость возможна до такой степени, что «я» и не мыслит другого самосознания) за свою собственную.

Итак, три измерения времени и три же – пространства. Формы обозначения человека в мире и себя в мире, то есть субъекта, объекта и фона. Фон – это «тап», «всемство», «оп», то есть все безличное.

Настоящее время потому и кажется фикцией, что оно переживается, а не осознается, как и само «я» в момент действия, иначе – феномен раздвоения личности, вообще рассогласованности. Прошрое и будущее, даже твои собственные, – это уже объекты, нечто осознаваемое, и если переживаемое, то абстрактно, эстетически, и «я» переживаемое все-таки туда не внедряется.

То же и в пространственных отношениях: «я» – это точка, не имеющая измерения. Отход «я» вовне (самоотстранение), объективирование порождает движение – линию, движение линии – плоскость, движение плоскости – объём. Это уже объекты. То же и в обратном порядке: но всегда пространственное «развоплощение» натолкнется на неделимое «я», точку, способную отождествиться с объектом любого пространственного (временного) порядка. Потому что в этом-то и различие «я» осознаваемого от «я» переживаемого. Одно не может перейти в другое (вытеснить, заменить, заместить, как не может символ заменить образ). Весь остальной мир – мера фона, третья мера.

Если верить утвердившемуся мнению, что человек изначально (как вообще человек, так и каждый индивид) не выделяет себя из окружающего его мира и что развитие в нем способности различать глубину пространства (и мерность его) происходит постепенно, то три измерения пространства и три измерения времени объяснимы как ступени развития самосознания.

Лицо твоё дрогнет, как будто в воде отраженное.

Человек нужен Богу, как собственное отражение. Просто также, как нам бывает нужна отражающая поверхность зеркала или просто воды. Вопрос: для чего это Ему нужно? Для диалога? Ни зеркало, ни поверхность воды отражения на себе не видят, как и не видят того, кто стоит перед отражением. Но человек – это другое зеркало, зеркало, которое видит отражение и образ того, что в нем отражается. Хотя бы смутно. Если твое отражение – объект, то два объекта – ты и твое отражение – разделены во времени. Там, в зеркале, – ты уже в прошлом. Фотографическая наводка резкости на раму зеркала или на изображение в зеркале соотносится как два к одному. То есть если до рамы два метра, то до изображения в зеркале – четыре метра. Так что абсолютное, отражающееся в нас, вечное, – начинает видеть себя во времени. Вечность стремится заболеть временем (по Бердяеву). Но зеркало напротив зеркала порождает в своей глубине будущее. В итоге, даже сверхслабое информационное взаимодействие является главным во Вселенной. Ведь гладь зеркала не только отражает, но и поглощает. В том числе и энергию. Невесть какая энергия вырывается из разбитого зеркала. Говорят, когда погибал «Новороссийск», у одного из моряков дома упало зеркало, унесенное им с корабля за 20 лет до катастрофы. И здесь проясняется смысл обычной в старину поговорки: «Глядеть как в воду», то есть предвидеть, предугадывать что-то помимо логики с ее казустикой. Может, по этой причине Грозному делали зеркала слепцы. А для нынешнего физика и обыкновенное трюмо – аналогия козыревских зеркал. Люди ученые, надеются, что когда-нибудь будет возможно увидеть то, что повседневно запечатлевается, как фотопленкой, на стенах: надо только научиться проявлять изображенное и считывать.

Парадокс тяготения состоит в том, что его центр расположен не у нас под ногами, а над нами; и не в виде наиважнейшей, наицентральной точки, а в виде сверхпространства. Может быть, для современного человека неважно, в сущности, в виде чего существует эта самая гравитация, главное – это на теперешний момент – чуть ли не единственная сила, представляющаяся ему достоверной, доказанной, непреложной, а потому и реальной. Он ее учитывает, с ней смиряется, ей подчиняется беспрекословно. Богу-то он прекословит. А что гравитация – одна из не самых важных Его ипостасей, что ж из того?

Со-весть, весть, совместная с кем? С кем в первостепенную очередь, если не с Богом? Твоего бессмертного с твоим абсолютным собеседником. Твоей души с ее Создателем.

«Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях» (Лк, 12, 2-3). Так что свет на крыше может стать адом. Отсвет адского считывается тем, кому ведома твоя совесть. Проступки, вины, грехи обретают образы, выходя из стен и предъявляя их проекцию в вечность. Тот, кому это представилось как реальность, удостоен искупления, прижизненного ада, который хорошо бы не утащить в свою могилу. «Ибо жертвы ты не желаешь, – я дал бы ее; всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже» (50 Пс). Поэтому из зеркальной глубины следует неочевидное отражение, неочевидное ни очевидцу, ни самому зеркалу. А посему, как сказал старец Иолай: «Не суй мене, Господи, куды мене не просят». Потому что каждый носит свой куб в себе. Да и Ной, говорят, был научен Богом построить ковчег согласно мере человека. Если человек – сумма мира, прямой конспект его, то нельзя ведь сказать про куб с ребром в один сантиметр, что точек в нем больше, чем в кубе в один метр: и там, и тут их столько же.





или смерти коснуться и глаз не закрыть

1974

ПОЕЗД

1

И снова на бегу меня пейзаж встречает,
вдоль поезда летит, воронками крутятся,
и валится в окно, и потолок качает,
и веером скользит в пороховую грязь.

И крутятся, как снег, ночные перелески,
от вальса и стогов кружится голова.
И танец колдовства, и ветра переплески
рисует на лугах безмолвная трава.

Прозрачный снегопад весь этот бег венчает.
Но то не снег летит, а разжимает горсть,
но то старик Харон монеты возвращает,
но то висит, как снег, летейской стужи гроздь.

И в грохоте колес, и в пересохшей Лете,
и в говоре морей – тревожный хор сирен.
И вещей Одиссей, один на целом свете,
переживает бег, задуманный как плен.

И две его руки сквозь снегопад воздеты,
сквозь бесконечный бег, когда предела нет
шуршащим берегам ненаселенной Леты.
А поезд, как снежок, разбрасывает свет.

2

Полустанок. Огни. Это поезд притих.
Это колокол ночи, отринувший взмах,
ощущает созвездья на склонах своих.
Это так же, как детство в далеких горах.

Так глаза в темноту открывает зверек
и, не видя себя, превращается в крик;
и смиряется тьма, и ложится у ног –
это снег на лету застывает на миг.

Но откуда-то вдруг вылетает состав –
это встречный, он крутит меня на бегу
с полустанком, с огнями, от звука отстав,
надвигаясь стогами на сонном лугу.

Это снова Харон разжимает кулак.
Это линия жизни с ладони в упор
снегопадом слетает, впиваясь во мрак,
и рисует собой очертания гор.

И вершины скользят, как изгибы ужа,
и срываются в белую кровь облаков.
И трава замирает в тумане, дрожа,
укрывая себя от своих двойников.

Это горы во мне продолжают расти,
это снег надвигается с разных сторон.
Если линию жизни не спрятать в горсти,
то к кому не вернется с монетой Харон?

Кто получит монету и сможет забыть,
как Харона ладонь уменьшалась на треть,
или смерти коснуться и глаз не закрыть,
или встать в стороне – на себя посмотреть?

3

И снова летят поезда.
Уже на востоке светлеет,
уже под мостами вода
от грохота их тяжелеет.

Как осенью, как в холода,
она навсегда безголоса.
Как в небо, глядится сюда,
а в небе грохочут колеса.

Найдется ли там уголок,
в ее опрокинутом доме,

тому, кто забыться не смог
в бессонном летеиском проеме?

А толпы вагонов под ней
насквозь проросли облаками,
и стало как будто темней
в ее перевернутом храме.

Туда простирает окно
какой-нибудь путник невольный,
и силится выпрямить дно
расплавленный лед колокольный.

Уже тяжелеет вода,
и воздух проемами рвется.
Уже никогда, никогда
оттуда никто не вернется.

4

И поезд вдоль ночи вагонную осень ведет
и мерно шумит на родном языке океана.
Предчувствием снега блуждает огней хоровод,
как бред шестеренок внутри механизма тумана.

И, уши закрыв, наклонившись сидит Одиссей,
читая кручину, один в полутемном вагоне.
И пенье сирен надвигается тяжестью всей,
и меркнет, и реет, и слух обжигает ладони.

И ту же кручину читая с другого конца,
за окнами ветер проносит обрывки пейзажа,
и вьется, и рвется, и чертит изгибы лица,
и кружится холод, и небо чернеет, как сажа.

И гнется под ветром холодный рассудок часов,
зубцами срываясь и гранями в нем цепенея.
Все ближе и ближе неведомый хор голосов.
Все дальше и дальше относит лицо Одиссея.

О, дом Одиссея, в пути обретающий все,
ты так одинок, что уже ничего не теряешь.
Дорогу назад не запомнит твое колесо,
а ты снегопад часовому рассудку вверяешь.

5

Толпы света бредут, создавая дыханьем округу,
узнавая пейзаж как создание своих мятежей,
обтекая его, голоса подавая друг другу,
превращаясь в скопления мечущих мрак миражей.

Так в обратный порыв увлекается бег ледохода,
натяжением силы вживаясь в свои берега.
Обретая себя, неподвижностью дышит свобода –
И летят берега, и раздет ледоход донага.

Каждый выдох таит черновик заверченного мира.
У меня в голове недописанный тлеет рассвет.
Я теряюсь в толпе. Многолюдная драма Шекспира
поглощает меня, и лицо мое сходит на нет.

Я теряюсь в толпе. Толпы света, как волны, смывают
и уносят меня, как стихи на прибрежном песке.
Там, где зреет строфа, там, где шепот сирен убывает,
там пронесится поезд по долгой и влажной строке.

Колесо и пейзаж на незримой оси снегопада
с одинаковой страстью друг друга пытаются в пути.
Начинается вдох. Открывается занавес ада.
Крепко спит Одиссей, и снежинка трепещет в горсти.

ГРОЗА

Храпя, и радуясь, и воздух вороша,
душа коня, как искра, пролетела,
как будто в поисках утраченного тела,
бросаясь молнией на выступ шалаша.

Была гроза. И, сидя в шалаше,
мы видели: светясь и лиловея,
катился луг за шиворот по шее,
как конский глаз разъятый, и в душе
мы всех святых благодарили – три,
три раза столб огня охватывал одежду,
отринув в пустоту спасенье и надежду,
как выстрел гибельный, чернея изнутри.
Был воздух кровью и разбоем напоен,
душа коня лилась и моросила,
какая-то неведомая сила
тащила нас в отечество ворон.
Кто вынул меч? Кто выстрел распрямил?
Чья это битва? Кто ее расправил?
Для этой бойни нет, наверно, правил –
мы в проигрыше все! Из наших жил
натянута струна, она гудит
и мечется, как нитка болевая,
и ржет, и топчется, и, полночь раздвигая,
ослепшей молнией горит.
Гроза становится все яростней и злей,
в соломе роются прозрачные копыта,
и грива черная дождя насквозь прошита
палящим запахом стеклянных тополей.
Струится кривизна граненого стекла,
ребристое стекло хмелеющего шара –
вот крона тополя. Над нами чья-то кара,
пожара отблески на сумерках чела.
Глядело то чело, уставясь на меня,
и небо прошлого в его глазах дышало,
и форма каждого зрочка напоминала
кровавый силуэт убитого коня.
Его убили здесь когда-то. На лугу,
на мартовском снегу, разбрасывая ноги,
упал он в сумерках, в смятенье и тревоге,
на радость человеку и врагу.
Не надо домислов, подробностей. Рассказ
предельно краток: здесь коня убили.

И можно справиться, пожалуй, без усилий
со всем, что здесь преследовало нас.
Нам не вернуть языческих времен,
спят идолы, измазанные кровью.
И если бродят среди нас они с любовью,
то это идолы отечества ворон.

КОНЦЕРТ

И музыка поражена.
И в пряди струнные рояля
уже вплетается она.
И, воздух срезанный печалю,
прозрачной кажется стена.

Еще чуть-чуть... Наоборот,
сначала будь стерней колючей,
под снегом желтой, и вот-вот
тот шелест чуткий и дремучий
со стеблем вместе прорастет.

Наполни шорохами звук,
верни его в зерно немое –
пускай он выпадет из рук.
И прорастет, усилясь вдвое,
в молчанье брошенный испуг.

А после стены прорастут
своей прозрачностью, и лица
из тьмы появятся. И тут
никто не сможет поручиться,
что стебли нас не обоймут.

ОСЕНЬ

Падая, тень дерева увлекает за собой листья.

ПОРТРЕТ

Ты можешь быть русой и вечной,
когда перед зеркалом вдруг
ты вскрикнешь от боли сердечной
и выронишь гребень из рук.

Так в сумерки смотрят на ветви,
в неясное их колдовство,
чтоб кожей почувствовать ветер,
прохладную кожу его.

Так голые смотрят деревья
на листья, упавшие в пруд.
Туда их, наверно, поверья
листвы отшумевшей зовут.

И гребень, и зеркало рядом,
и рядом деревья и пруд,
и, что-то скрывая за взглядом,
глаза твои тайной живут.

Ты падаешь в зеркало, в чистый,
в его неразгаданный лоск.
На дне его ил серебристый,
как лед размягченный, как воск.

Искрящийся ветер, перешитый,
навек перестроенный в храм.
И вечный покой Афродиты
незримо присутствует там.

Улыбка ее и смущенье
твое озаряют лицо,
и светится там, в отдаленье,
с дрожащего пальца кольцо.

Ты вспомнишь: ты чья-то невеста,
чужая в столь зыбком краю.
И красное марево жеста
окутает руку твою.

* * *

Соединенье этих рук равно сближению деревьев,
когда их тени не скрывают, как друг от друга далеки,
и их листва, и их смятенье, рожденное в годичных кольцах,
запечатленное в прожилках и на извилинах коры.
И чем теснее наши руки, а тень деревьев отчужденней,
тем непонятнее всего,
какой огонь прошел меж ними, до наших рук не дотянувшись.

* * *

Увы, уходят со стекла морозные пейзажи,
сгорают начисто, дотла, без копоти и сажи,
и там, где ласточка жила, там нет травинки даже.

Ушли холодные леса без запаха и пота,
как будто лишь на полчаса, как будто зная что-то,
и в их пропавших небесах нет места для полета.

Там, за лесами, есть гора, а под горой поселок,
туда, конечно, не дойти, хоть путь туда недолог,
а если даже и дойдешь, то из его колодца
дохнет молчаньем, и пустым твое ведро вернется.

И только небушко над ним, своей судьбе покорно,
висит, как нота на листке, как черная валторна,
и детским голосом моим меня зовет упрямо.

И вот пылает, как прожог на полотне селенья,
и дышит входами, как дверь в страну преображенья,
куда в надежде и тоске с неистребимой жаждой
приходят все, кто одинок, приходят все однажды.

Когда мне мало уголка автобусной стоянки,
когда нет дела до того, что скажут мне цыганки,
когда гнетет меня, как стыд, в чужом пиру похмелье,
хочу, чтоб ты была одна в печали и без цели.

Тогда мы встретимся с тобой под небом той валторны,
и нас колодец напоит своей водой повторной
и с ледяных ветвей вспорхнет отмеченная птица,
попросит песенкой своей у нас воды напиться.

И время тихо поплывет обратной стороною,
ломаю море на куски, дохнет стекло волною,
и нет уверенности в том, что нет тебя со мною.

* * *

Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,
и млечные стволы хрипят в его пожаре,
на прорези пустот накладывая швы.
Мороз в конце зимы берет немую спицу
и чертит на стекле окошка моего:
то выведет перо, но не покажет птицу,
то нарисует мех и больше ничего.

Что делать нам в стране, лишенной суесловья?
По несколько веков там длится взмах ветвей.
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,
и кормим с рук своих его немых зверей.
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,
горящие огни, как стебли, разводя.
Там звезды, как ручьи, текут по небосводу
и тянется сквозь лед голодный гул дождя.

Пока слова и смех в беспечном разговоре –
лишь повод для него, пока мы учим снег
падению с облаков, пока в древесном хоре,
как лед, звенят шмели, пока вся жизнь навек
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,
и некуда идти, – что делать нам в плену
морозной тишины и в том глухом покое
безветренных лесов, клонящихся ко сну?

* * *

Любовь, как мышь летучая, скользит
в кромешной тьме среди тончайших струн,
связующих возлюбленных собою.

Здесь снегопада чуткий инструмент,
и черно-белых клавишей его
приятно вдруг увидеть мельтешенье.

Внутри рояля мы с тобой живем,
из клавишей и снега строим дом,
летучей мыши крылья нас укроют.
И, слава Богу, нет еще окна –
пусть светятся миры и времена,
не знать бы их, они того не стоят.

Приятно исцелять и целовать,
быть целым и другого не желать,
но вспыхнет свет – и струны в звук вступают.
Задело их мышинное крыло,
теченье снегопада понесло,
в наш домик залетела окон стая.

Но хороша ошибками любовь.
От крыльев отслоились плоть и кровь,
теперь они лишь сны обозначают.
Любовь, как мышь летучая, снует,
к концу узор таинственный идет –
то нотные значки для снегопада.

И черно-белых клавишей полет
пока один вполголоса поет
без музыки, которой нам не надо.

Это всего лишь щепоть пустоты,
это всего лишь чакона без скрипки –
ты меня встретишь подобьем улыбки,
словно стесняясь своей красоты.
Это из сказок, из тени степной
ветер приносит молчанье цикады,
ветер ночной, примирающий взгляды
и наполняющий нас тишиной.
Я виноват или ты не права,
или вина без вины виновата –
стынет в ночи за грядюю Арбата
под мостовую сухая трава.
За руки, медленно, как по воде,
словно во тьму, осторожно ступая, –
так мы пойдем. И никто не узнает,
как мы ушли, не споткнувшись нигде.
Или в автобус гремящий войдем,
сядем куда-нибудь, глядя, как прежде,
в два одиноких стремленья к надежде –
это они проплывут за окном.
Это автобусный дым или чад
книжной, стальной, на колесах цикады,
свет разрушающей, режущей взгляды
и отрезвляющей нас невпопад.
Мы еще здесь или там, в стороне,
там, позади, на своей остановке?
Не продохнуть – бесполезны уловки –
щелкну в пятак на замерзшем окне.

Травинка в сон вступает
и лебедь улетает –
так умирает снег.
И был бы снег зеленым,
да лебедь стал влюбленным –
совсем как человек.

Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей.
Когда ты красным полотном взовьешься надо мной
и я займусь твоим огнем навстречу тьме незрячей,
никто не скажет обо мне: и он нашел покой.
Рванется в сторону душа, и рябью шевельнется
тысячелетняя река из человеческих глаз.
Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенется
в древесном шепоте моем и вспомнится не раз.
Ты, смерть, красна или черна, не в этом вовсе дело, —
съедает мартовский туман последний мокрый снег.
И в смертном шепоте моем уже не уцелело
ни слов для совести моей, ни берегов для рек.
А над оттаявшим прудом весна не городская,
на деревянном островке вчерашний снег уплыл.
Там, клюв упрятав под крыло, как будто замыкая
себя в осеннее кольцо, когда-то лебедь жил.
Я вспомнил лебедя, когда, себя перевозмогая
и пряча губы в воротник, я думал о тебе.
Мне так хотелось умереть, исчезнуть, замыкая
в себе все прошлое мое, тебя в моей судьбе.
О, если б вправду умереть пришлось мне в то ненастье,
то кто послушал бы меня и кто б сумел помочь
мне вытравить себя из глаз, пророчащих участь,
неумолимых, как и ты, и обращенных в ночь.
Всю память выжечь о себе, сгореть, лишиться крова.
Кричать: забудьте обо мне, меня на свете нет!
Что будет, если я умру? Меня оттуда снова,
оттуда вытащат опять просматривать на свет?
О, если б камни, что мои хранят прикосновенья
и в них живут, как в скорлупе, растаяли как дым!
О, если б все ушло со мной: вся память, все мгновенья,
в которых я тебя любил отчаяньем моим!
Где зеркало теперь мое? Бродячим отраженьем,
не находя ответных глаз, по городу бреду.
Грозит мне каждое окно моим прикосновеньем.
Мне страшно знать, что я себя нигде не обойду.

Я натыкаюсь на себя и там, где не был даже,
весь город мною заражен – повержен в колдовство.
Люблю, боюсь, зачем, кого – слова подобны краже.
Туман съедает мокрый снег, мне не спасти его.

ДОМ

То, чем я был когда-то,
все, присущее мне,
что тебя не коснулось,
я хочу уничтожить, забыть, даже если
это то, что спасало меня
и еще бы спасло не однажды
от одиночества и пустоты.
Умирает ли дом, если после него остаются
только дым да объем,
только запах бессмертный жилья?
Как его берегут снегопады,
наклоняясь, как прежде, над крышей,
которой давно уже нет,
расступаясь в том месте,
где стены стояли,
охраняя объем, который
четыре стены берегли.
Нет окна,
но тянутся ветви привычно
клена красного, клена зеленого,
клена голого, заледеневшего
восстанавливать это окно,
помогая проходим
отражаться в пропавшем стекле.
Умирает ли дом, если мы этот дом покидаем?
Умирает ли дом, если он забывает о нас?
Поцелуй озаряет его.
Ты сказала:
благословляю тот день, который
соединит нас,
и все, что будет потом.

То, что было потом, охраняют теперь снегопады,
разлинованный отсвет окна создавая в полете,
словно сердце синицы на встречном ветру,
прогибаясь над светом.
Этот свет поцелуя, снегопадами наспех обжитый,
был ли впору тебе,
когда ты глаза
на окно поднимала?
Тот, кого ты ждала,
а потом в этом доме встречала,
сам придумал себя для тебя
и не знал, что придумал себя.
Все мне кажется –
был я свидетелем в доме счастливом.
Потому и хочу я забыть
все, присущее мне,
что тебя не коснулось.
Все, чем был я когда-то.
Умиравший больше похож на себя, чем живущий.
Но нет прошлого с теми, кто помнит о прошлом
в час открытых дверей в дом счастливый.
И нет неба над небом, земли над землей и любви над любовью.

Я буду дорожить
виной или ошибкой.
Ткань возвратится в нить,
чтоб грусти стать улыбкой.
Надежды больше нет,
есть только вера в чудо –
и надо мною свет
неведомо откуда.

* * *

Когда неясен грех, дороже нет вины –
и звезды смотрят вверх и снизу не видны.
Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе,
верней, глядят на этот страх, не видя наших лиц.
Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,
трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц.
Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде.
Они глядят со стороны, колючий сея свет,
и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде,
и возвращается назад, но звезд на месте нет.
Они повернуты спиной, их не увидишь снизу.
И кто – скажите мне – хоть раз подняться выше смог,
чтобы увидеть, как течет не ответ по карнизу,
не тень ручная по стене, а вне лица упрек?
Как эти звезды приручить, известно только Богу.
Как боль неясную унять, понятно только им.
Как в сердце черном возродить любовь или тревогу?
Молчат. И, как перед собой, пред небом мы стоим.
И снег проходит нагишом, невидим и неслышим,
и продолжается полет давно умерших птиц,
и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам,
и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц.

* * *

Тихо сердце, как осень, горит,
словно в красное зеркало леса
загляделось, не чувствуя веса,
с отраженьем своим говорит.

Тихо сердце, как осень, горит,
словно зеркало рябью тревожит,
словно листья горящие множит
и в лесном запустенье царит.

Что-то было и что-то прошло,
только сердце, как лес, опустело,

наваждением листвы прошумело,
в листопаде замкнуло тепло.

Только кто же войдет в этот лес,
наваждением его заморожен,
осторожно, пока он возможен
и пока он совсем не исчез?

ЗИМА

*Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай!*

Из детской считалки

Дорога свернута в рулон,
линяет лес со всех сторон.
Справляя праздную затею
и реки покрывая льдом,
держа их на весу вверх дном,
зима пирует. Рядом с нею
мы оказались за столом.

Какая сила нас свела?
И как она одна смогла,
переплавляя наши лица,
их в зимний лик навек свести,
туманом тяжким обвести
и, чтоб самой не простудиться,
его снегами занести?

В крови ярится белизна.
Мы лишены и тени сна.
Трещит костер морозной стужи.
И души смерзлись, как на грех,
теперь одна душа на всех.
Ее, облезую, снаружи
морозный покрывает мех.

И волосатая душа,
морозным ладаном дыша,
стуча прозрачными зубами,
вступает в многолюдный рай
и вносит сумерки в трамвай.
И дети чертят сапогами
на ней какой-то каравай.

Потом становятся в кружок,
твердят заученный стишок,
заводят с нею разговоры.
И небо смотрит на игру,
и раздвигает ввечеру
свои застенчивые шторы,
и просит ангела к костру.

Но ангел в детских сапогах
уже испытывает страх –
его зима насквозь пронзила.
Учись, дитя, ходить кружком,
учись, душа, дышать снежком,
но земляничный запах мыла
оставь у неба под крылом.

ОДА ВЕТРУ

Ты, ветер, строишь самолет,
ты в ночь отвязываешь плот
и разобщенной стаей
плывешь послушнее числа
сквозь волосатый выдох зла –
и стекла льют колокола
и рябь изобретают.

Как лодка, улица плывет
и рябь со стекол раздает,
и рифмами своими
погасших окон чернота

дырявит ночь, и пустота,
своим неведеньем чиста,
свое глотает имя.

И воздух рифмами прошит,
и чернота меня слепит
и за собою тянет.
И, ветром каменным полны,
шуршат седые валуны,
мерцают сжиженные сны,
и в них дыханье вянет.

Ты рябью роешь зеркала,
тебя рисует, как игла,
перемещение веток.
И если зеркало падет,
оно лицо мое прольет,
и в жилы смертные войдет
предощущенье света.

ДЖАЗ-ИМПРОВИЗАЦИЯ

Что стало с городом в степи?
Здесь третий день хозяйничает вьюга,
выпаривая соль архитектуры,
забытой нами вопреки себе,
и сравнивает крыши с небосводом.
Вот белые холмы или шатры –
как будто вся земля
вдруг стала альбиносом.
Мы в трех ночах ее купали,
топили в трех закатах и рассветах,
пытались нанести на ней пунктир
или хотя бы точку,
но все напрасно – краска отлетала
и лопалась, и тут же растворялась
в косматой неумемной белизне.
Степная зона – как огромный лист бумаги,

чуть смятой, распростертой над каретками
подземных пишущих машин,
и день и ночь стрекочущих и шьющих
полотна белые судьбы,
с едва заметною канвой для вышиванья:
и день и ночь, и день и ночь, и день и ночь.
Так шьет сверчок и тут же порет быт:
день и ночь, ночь и день.
Так шьет кузнечик и распарывает зной:
день и ночь, ночь и день.
С электрической страстью
лапы окон дома обхватили –
день и ночь, ночь и день, день и ночь.
Так день и ночь гремит вода в котлах
и слой за слоем переходит в прах.
Выпаривая соль архитектуры,
подходят к ней с ножом раздетым,
как к кошке, проглотившей бриллиант
и уравнившей на весах вращения
с тем камешком скупую жизнь свою.
Пожалуй, он потяжелей мышонка
и каждой гранью ярче блеска
внутриутробной мышьякой темноты.
Кто зарубцует полосы ножа
на выпуклой поверхности воды,
когда свисает время в самое себя
и останавливается?
О, как оно стоит
для праздных мародеров опоздания,
сплетающих лучи в узлы и петли,
не в пику ли кошачьей злой утробе
копируя мышиные ходы,
ходы и норы, норы и ходы?
И день и ночь гремит вода в котлах.
По пятому трамвайному маршруту
на службу вышел томный жук-олень
и сел на мель трамвайного инстинкта,
чьи вечные железные следы
нешадно пожирают перспективу.

Войдешь в трамвай и вместо длинной ленты,
стекающей из кассы узкой струйкой,
сплошь пересыпанной цифирью,
получишь за монету полтравинки
иль что-нибудь почище – если б знать,
чем кормятся жуки-олени.

Дальше,
все дальше удаляется от моря
жилье сирен,
растет туда, где ровный шум мотора
одет нутром и порами метро.
Великая Китайская стена!
Великая Останкинская башня!
Колодцы и ходы. Ходы и норы,
ходы и норы, норы и ходы.

А снегом занесенный городок
куда-то оседает час за часом,
ломаю с хрустом русла и отводы,
прорезанные в воздухе горбатым, –
те русла, по которым потекли бы
ростки и стебли, ветви и стволы.
Кто строил эти русла час за часом,
предупреждая чье-нибудь паденье?
Кто отпускал деревья врассыпную
не по отвесу, а по руслу роста?
Что будет, если русло перекрыть,
придать ему заведомую форму
стола, колодца, лодки, колыбели?
Не потекут ли все деревья вспять?
Не растворятся ли в ночном потоке?
Там снежные заносы и обвалы,
бесцветные, как сны у альбиносов,
растаявшие в бочках из-под снега.
Кто строил эти русла,
снимая копию с дождя
в кремнистом визге
застывшей какофонии домов,
затянутых в распад архитектуры?

Войдет ли в русло падшего собора,
сожженного в пылающей воде,
хотя бы деревце одно, хотя бы?..
Кто повторит кристалл его полета
в кипящей растворившийся крови?
Войдут ли в русла совести потомки?
Кто заново отстроит их и снова
пошлет в них ярость камня
и смятенье духа
и руслами в потомстве отдохнет?
Так ширится песчинка, тяжелая под ветром.
И ничто уже не сможет ее остановить –
ни камень, ни скала, ни города, ни горы.
Уже не шорох по земле невнятный,
а камнепады, водопады улиц
срываются и небо обдают
огнями, искрами, и пригоршнями страха
себя в ночи разбрасывают окна.
Гора пугает мышь, когда она размером
с песчинку, пролетающую вскользь
на гребне вихря.

Вода в глазах не тонет – признак грусти.
Глаза в лице не тонут – признак страха.
Лицо в толпе не тонет – признак боли.

Боль, как пещера, вырыта в тумане –
в газообразном зеркале летейском,
толпящемся в преддверии страданья.

О, если б кто-нибудь в пещеру эту
своим лицом вошел, он бы услышал,
что боль поет, как взгляд поет в ресницах.

Черна как нефть, готовая взорваться,
она плотней кассеты с киноплёнкой,
где в каждом кадре увяданье мака,

где в каждом кадре мак меняет кожу,
и против шерсти зеркало ласкает,
оно в ответ чернеет и клубится.

Лицо в толпе не тонет и уходит.
Ему бы оглянуться, но в тумане
лишь взмахи весел, плеск и скрип уключин.

ПРОХОЖИЙ

Прохожий стремится в глубь города,
а выходит на другой конец его,
так и не подозревая, что центр оставлен позади.
Он и не думал о том, что две линии,
пересекаясь где-то вдали,
ускоряют перспективу,
единственная звезда на небосводе
укорачивает взгляд.

Он устал, как стадо слонов, бредущих сквозь Альпы
под бичами солдат Ганнибала.
Он идет, пока виноват.



ПЕРСОНАЖ

Ты для него – пришелец, тайна за семью печатями, персонаж из многих его видений. Он смотрит сквозь тебя и видит нечто более материальное, чем ты. На него опущен колпак, как перевернутый стакан на муху. Но муха, пока не задохнется, будет метаться и биться, он же несвободен совсем по-другому: колпак ему незаметен, он следует за ним, как его собственная тень, и это преследование вовсе не сон, он готов протянуть руку и тебе как своему видению. Оглянись по направлению его взгляда, там – Край Света, сделай шаг назад – тебя поглотит Ничто, но и тогда ты не увидишь перевернутого стакана, не увидишь, что он для него – панорамный экран, по которому движутся бесчисленные персонажи его «я», беспорядочный набор картинок, репродукции расплывчатых отражений, обрывки кинолент, буквы из рассыпанной наборной кассы, рваные клочки того, что когда-то было книгой. Край Света начинается сразу за этим экраном, там, где обрывается разрешающая способность его разума. Увидеть себя со стороны ему не дано: самосознание его затянато поволокой, как траурное зеркало. Его «я» замкнуло и захлопнуло его в этом колпаке. Двери во внешний мир давно заколочены, а если и не все, то перепутаны друг с другом: открываешь дверь с табличкой «Директор» и видишь позвонки Уральского хребта, ныряющего в степь.

Что мы такое? Откуда мы знаем о себе? Откуда мы знаем о линии? Из пересечения плоскостей? Откуда мы знаем о цвете? Из пересечения красок? Изнутри цвета, изнутри линии что видишь? А то, что есть в моей душе, должно ли быть и за ее пределами?

Он нечист, нечистоплотен, а он не сомневается в себе, потому что он выступает от имени власти. И вот он – персонаж той «повести, которую пересказал дурак». И это доводит его до безумия. До самоустранения. Не потому ли, что система, для которой он – часть ее, сознается им как нечто более чем непреложное: она свята, самоценна. И это тот случай, когда отождествление с чем-либо приводит к войне, но не с системой, а с самим собой. Но разве он смог бы отождествиться с ней, уравниваться в правах, в претензиях к началам или ко всеобщему Началу? Он казнит себя раньше, чем успеет испытать крах отождествления. Выходит за Край Света.

Но грех – не граница, которую вольно переходить туда и обратно. Это панорамный экран, непроницаемый колпак, и войти в эту мертвую зону – все равно, что потерять зрение или слух. Но мало того: это и не подозревать о том, что у других есть то, чего нет у тебя.

Но, как ни странно, у каждого – свой экран, может быть, сверенный с другими, может быть, соотнесенный с Экраном-Над-Всеми, и потому в ме-

ру прозрачный. Но провидеть сквозь него – это отбросить его. Итак: гаснет экран.

Фауст: остановись, мгновение. Получается, что дьявол не так уж деятелен, то есть сам-то он, может, и деятелен, но цель его – остановить развитие. Другое дело, хочет ли он быть равным себе? То есть хочет ли он быть чем-то застывшим или он вынужден приспособливаться к тому, что изменчиво? Другими словами: полностью ли паразитична его природа или она следствие существования формы (свет ведь светит во тьме)...

Любовь требует полноты: требование в отдаче. Так просто. Без отдачи – это только ревность. Дьявольское наущение.

Но и любовь – величина постоянная (более чем переменная). Желание памяти как постоянства. Экран. Память – экран. Но он для нее прозрачен. И все время это жизнь. Жизнь, не затмевающая другую жизнь.

Душа в обыденном смысле – просто сила жизни. Потому и у оборотня душа – внешняя, и сила его, заведомого мертвеца, заемная, отхваченная от чужой жизни. И куб свой он носит не в себе, а снаружи. И куб тот – трехмерная, но однозначная проекция, то ли храма, то ли тюрьмы, то ли еще какого-либо мнимого пространства.

И я, достаточно маленький относительно бесконечного пространства, стою, может быть, только одного кубометра этого пространства. И, кажется, хватит, и куда уж больше, и вроде бы меня не касается все, что сверх этого кубометра. Но стоит начать отсекал миллиметр за миллиметром ту часть мира, которая не входит в этот куб, как все начнет во мне усыхать. И наоборот: корона – сомнительный компресс на ту голову, которая может разорваться от жажды власти.

В каком-то смысле зеркало – это твоя посмертная маска, маска того, что уже никогда не вернется. Словно ты не сам по себе, а отражение самого себя, беспрерывно колеблемое, – и это болезненно, как воскрешение.

Кантовская «вещь в себе» стала «вещью не в себе», «вне себя». Вещи, которые не видят тебя, – незримы. А вещи, которые не смотрят на тебя?

Люди – туман от небесной реки. Но мы – не Божья роса, мы – кровавый пот на челе Его.

Яблоки на кустах пролетали мимо окна поезда, как тучи шрапнели.

Дубина трехмерна, меч двухмерен, шпага одномерна, пуля что ли – точка?
Spiritus quaerit formam – дух ищет форму,
или спирт ищет бутылку,
или битва ищет свое место в истории, в пространстве,
ищет поле сражения.

«То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Однако Юпитер не преминул обратиться в быка, чтобы ему сподручней было спереть Европу.

Как будто бы и фотография – способ преодоления времени. И в этом ее самообман. Почти на каждом снимке среди всего, что ушло в прошлое, плавают фрагменты будущего: вот дерево – оно и завтра будет таким же, и послезавтра, и через десять лет, то есть пока не упадет. Конечно, оно не вечно – а нужно ли нам вообще это вечное? Нам хочется чего-то длительного, долгого, а вечное – это ведь так, абстракция.

Если бы гора могла видеть (или: в тот миг, когда гора прозревает, начинает видеть), она бы видела свое прошлое в своем отражении. С точки зрения наблюдателя, ее отражение в воде существует в настоящем, а с ее точки зрения – наблюдатель в настоящем, а отражение его – в прошлом. Поэтому ковчег – как чудо опрокинутой горы – строится из прошлого в будущее, он плывет против течения, его назначение – преодолеть время.

Об утопии. Исчерпана ли ее своевременность? Нужна ли она? До сих пор она была экстравагантной: должны чудесным образом измениться обстоятельства. И тогда «я» или кто еще изменится к лучшему и станет вечно счастливым. Сейчас такая установка вызывает смех. Смех злой. Но никто

и не заставляет верить в утопии. Утопия ведь есть свидетельство инстинкта завершенности, той же гармонии. Это не столько вера, сколько инстинкт цельности, хотя... Возможно, вера и начинается с этого инстинкта. А если нет веры (наивного знания), то нет смысла говорить и о цельности. Опять все упирается в вопрос о вере – знании. Почему так называемое знание победило? Ведь, в общем, оно – иллюзорно: как будто нечто вроде рациональной веры. При сохранении желания, чтобы чудесное устроилось очевидным, «естественным» образом. Отсюда и крах утопии. Показанный еще Достоевским в Раскольникове.

Почему наше искусство (или оно – двойник?) по большей части рефлексивно? А поэтому и малопродуктивно? А если и склоняется к утопии, то без преодоления рефлексивности? Рефлексия ведь связана со скепсисом,

Утопия – не только то, что касается будущего. И даже чаще наоборот. Потому что обломки прошлого более реальны (понятны), чем фрагменты будущего.

Так ли уж совестливо призывать антигероя со стороны? Да не фантом ли это? Совесть – гнев, обращенный внутрь себя. Поиск цели для своего гнева – совесть ли это? Стыд – источник или проводник? Можно ли считать силой то заблуждение, при котором силой кажется лишь способность ее проводить? Сознание собственной силы – в понимании, что ты за проводник и чего.





море, что зажато в клювах птиц, – дождь

1978

* * *

Море, что зажато в клювах птиц, – дождь.
Небо, помещенное в звезду, – ночь.
Деревя невыполнимый жест – вихрь.

Душами разорванный квадрат – крест,
черный от серебряных заноз – крест.

Музыки спиральный лабиринт – диск,
деревя, идущего на крест, – срез.

Блуждает изнуренная игла
по кругу, и ушибами горит
черный, несмывающийся срез.

Там стрелочник в горящих рукавах
за волосы подвешен в пустоте –
стрелки перепутаны впотьмах.

И белые висячие сады,
как статуи, расставлены на льду –
черный несмывающийся срез.

И копится железо для иглы,
и проволоку тянут для гвоздя,
спиливают дерево на крест.

Деревя срывающийся жест – лист.
Небо, развернувшее звезду, – свет.
Небо, разрывающее нас, – крест.

ДО СЛОВА

Ты – сцена и актер в пустующем театре.
Ты занавес сорвешь, разыгрывая быт,
и пьяная тоска, горящая, как натрий,
в кромешной темноте по залу пролетит.

Тряпичные сады задушены плодами,
когда твою гортань перегибает речь
и жестяной погром тебя возносит в драме
высвечивать углы, разбойничать и жечь.
Но утлые гробы незаселенных кресел
не дрогнут, не вздохнут, не хрястнут пополам,
не двинутся туда, где ты опять развесил
крапленый кавардак, побитый молью хлам.
И вот уже партер перерастает в гору,
подножием своим полсцены охватив,
и, с этой немотой поддерживая ссору,
свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.
Ты – соловьиный свист, летящий рикошетом.
Как будто кто-то спит и видит этот сон,
где ты живешь один, не ведая при этом,
что день за днем ты ждешь, когда проснется он.
И тень твоя пошла по городу нагая
цветочниц ублажать, размешивать гульбу.
Ей некогда скучать, она совсем другая,
ей не с чего дудеть с тобой в одну трубу.
И птица, и полет в ней слиты воедино,
там свадьбами гудят и лед, и холода,
там ждут отец и мать к себе немого сына,
а он глядит в окно и смотрит в никуда.
Но где-то в стороне от взгляда ледяного,
свивая в смерч твою горчичную тюрьму,
рождается впотьмах само собою слово
и тянется к тебе, и ты идешь к нему.
Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем,
и всадники толпой соскакивают с туч,
и свежестью разят пространство раздвижное,
и крылья берегов обхватывают луч.
О, дайте только крест! И я вздохну от боли
и, продолжая дно, и берега креня,
я брошу балаган – и там, в открытом поле...
Но кто-то видит сон, и сон длинней меня.

МАСТЕР

Займи пазы отверстых голосов,
щелячьи глотки, жаберные щели,
пока к стене твоей не прикипели
беззвучные проекции лесов!

Он замолчал и сумрак оглядел,
как гуртоправ, избавясь от наитья.
Как стеклодув, прощупал перекрытья.
И храм стоял, и цветоносил мел.

Он уходил, незрим и невесом,
но тверже камня и теплее твари,
и пестрота живородящей хмари
его накрыла картой хромосом.

Так облекла литая скорлупа
его бессмертный выдох, что казалось —
внутри него уже не начиналась
и не кончалась звездная толпа.

Вокруг него вздувались фонари,
в шарах стеклянных музыка летела,
пускал тромбон цветные пузыри,
и раздавалось где-то то и дело:
...я ...задыхаюсь ...душно ...отвори...

И небеса, разгоряченный дых,
ты приподнял, как никель испарений.
Вчера туман с веревок бельевых
сносил кругами граммофонной лени
твой березняк на ножницы портных.

* * *

Пустая телега уже позади,
и сброшена сбруя с тебя, и в груди
остывшие угли надежды.

Ты вынут из бега, как тень, посреди
пустой лошадиной одежды.

Таким ты явился сюда, на простор
степей распростертых, и, словно в костер,
был брошен в веление бега.
Таким ты уходишь отсюда с тех пор,
как в ночь укатила телега.

А там, за телегой, к себе самому
буланое детство уходит во тьму,
где бродит табун вверх ногами
и плачет кобыла в метельном дыму,
к тебе прикасаясь губами.

Небесный табун шелестит, как вода,
с рассветом приблизятся горы, когда
трава в небесах закружится
и тихо над миром повиснет звезда
со лба молодой кобылицы.

БАР

Откуда нам было заметить, что в трех километрах отсюда,
от этого бара чумного, куда нас судьба занесла,
в полях полковые зарницы, питомцы армейского зуда,
нам веерной сталью маячат сквозь толщу пивного стекла?

Откуда нам было дознаться, что это за нами следила
гремячая ветка рябины, с полыни сдирая слюду?
Но звезды в продольном разрезе сплела телефонная жила,
и все предрешенные встречи запутались в ней на ходу.

Не лопнет струна гороскопа, пока номера телефона
полярными буднями диска из будки глазеют в окно.
Трепещет ли нитка в рубахе, рябину ли гнет Персефона,
а звездная нить расставанья укромное рвет полотно.

Еще не готовые к встрече, но годные к убыли мерной,
мы здесь, за дубовым окопом, повитым хмелем, замрем.
Но как обесточить зарницы? В их удали цепкой и нервной
нацелено что-то такое на нас дальнобойным ядром.

Пуускай электрической плотью себя одевает рябина,
пусть ночь остается на месте, а почва плывет из-под ног!
Отечество – ночь и застолье, и все остальное – чужбина.
Мы – верные граждане ночи, достойные выключить ток.

Прозрачных городов трехмерная тюрьма,
чья в небесах луны не светится земля,
и мачты для гробов, и статуи ума
в сыпучее метро уводит до нуля.

Там скрипка – то капкан, то мертвый каталог
полетов и судеб, засосанных землей.
Для безымянных дней единственный итог:
парящие гробы в земле над головой.

Вдруг кованого гипса нагота
была крапивой зажжена, и слово
всю облегло ее, и чернота
в ней расступилась и сомкнулась снова.

И не догнать! Не перейти черту!
Едва она успела оглянуться,
как ноги вмерзли в эту черноту –
к ней невозможно было прикоснуться.

Шмелиный зной качался на свечах
черней, чем кровь в сердечном провороте.
Но совпадают цвет и суть в ночах,
и боль, как шмель, горюет о полете.

Ты – светлый ангел, и тебе не жаль
тащить меня с молитвенной кошелкой
в свою окаменевшую печаль
и надо мной размахивать иголкой?

Был месяц втоптан в быт колоколов,
в часах кукушки больше не гнездились.
И зеленела тень поверх голов,
как на траве, когда мы расходились.

* * *

Мелеют зеркала, и кукольные тени
их переходят вброд, и сразу пять кровей,
как пятью перст – рука забытых отражений,
морочат лунный гнет бесплотностью своей.

Вот так перед толчком подземным пастью всею
вдруг набухает кот, катая вой в пыли.
Зарытый гром дробит зеркальный щит Персея,
и воскресает дождь, и рвется из земли.

И не стряхнуть листвы грунто-игольной дрожи,
и не поднять руки, и не поймать зрочки.
Там жарится руда для корабельной кожи
и катится орех по полю вдоль реки.

Вот-вот переведут свой слабый дух качели,
и рябью подо льдом утешится река,
и, плачем смущена, из колыбельной щели
сквозь зеркало уйдет незримая рука.

ОРНАМЕНТ

Потомок гидравлической Арахны,
персидской драгвой он сшивает стены,
бросает шахматную доску на пол.

Собачий воздух лает в погребенье.
От внешней крови обмирает вопль.

Она четверку лошадей выводит,
подковы их – само колесованье.
Он ставит лаковых слонов на рельсы.
Разбросаны перчатки осязанья,
наперстки звона, веретена вальса.

Зевает кот – расходится кругами,
чуть дрогнут заспиртованные шоры
его зрачков, он плавает над ними,
не ставит меток для жужжащей дрели,
не ищет пауз для иранских шалей.

Он зажигает буровую фару,
коронки рвут рельефную фанеру.
Подкрашен воздух. Скважины простерты
от клеток до бесцветного пласта
высоковольтных хромосом Христа.

Едва ударит шестоперый ливень,
свернется мех иранских плоскогорий,
всплывет бивень в кольце нагара.

Расходятся слепые по темницам.
Смерть входит со спины с картой.
Пересыхает кофе. Гниет дратва.
Облизанная сталь. Снег. Бритва.

РАПСОДИЯ БАТАРЕИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Вскрывающий небо ущербным консервным ножом,
бросающий сверху пустую цветочную бомбу,
крутой полумесяц на клумбе развернут, как скатерть.

А розовый куст, восходящий над краем стола,
бронхитом трясет и сорит никотиновой солью,
клубясь и блестя в негативном ознобе рентгена.

Так выглядит каждый сидящий напротив меня,
особенно возле стакана густого портвейна,
вдвоем с сигаретой, глядящей с печалью трамвайной,
таким я кажусь для того, кто заметит меня.

И что ни лицо во вселенной, то водоворот,
затянутый наглухо спелым комфортом болот.

От рощ, иссеченных в табачном кристалле кафе,
внебрачные реки, давясь отопительным пивом,
в свои батареи уводят чугунным напевом
глухого Орфея, и кажется пьяным Орфей.

Я ввинчен в кружение вод, у меня впереди
чугунные русла и роза в цветочной груди.

Лицо во вселенной срывает с резьбы небосвод.
Пурпур объявлен – роза придет!

Вдруг стало темно, точно внутри этого «вдруг».

Круче и круче круг отлученных вод от лучей,
от неба отъединенных вод.
Облаком быть не дано!
Богом рек, морей, зыбей
не дано быть!

Молитва твоя – молотьба букв,
стук по газете
твердых дождей чугунного сплава,
зреющих слева направо,
сверху вниз.

Дождь орошает сухой линотип.
Буквы растут, стебли срезают.
Бумагу кладут на стерню –
вот и газета.

Небо срывается сверху столбцами газет.
Пятки Орфея изрезаны в кровь.
Пурпур объявлен – роза придет!

Чайник в обнимку со словом «вода»
к речке идет, а в слове «вода» –
накипь, как в чайнике.

Пить! Пить! Пить!

А река-то, пить-пить, огорожена сплошь батарееми.
Некуда выдох свой поместить.

Я, распластавшись, лежу на песке, создающем меня.
А река, поднимаясь со дна, как облако, любит меня.

Облако входит в себя, становясь незримым.
Светящийся розовый куст, коллапсируя, входит ко мне.
То – куст, убеленный словами, несущими воду.

То – Бог!

ДЕНЬ

Когда набираешь «Скорую», а попадаешь в Эдем –
стрелки часов лихорадит магнитная буря времен.
Путает код первородства смертный обыденный день,
и ни последний, ни первый, разом единственный он.
И не подумает время, когда ему день хоронить, –
вот он растет и растет жаждой праведных могил,
сад в телефонном реву пытается ночь раздобыть,
свет конца своего не видит в буйстве светил.

В яблоке ключ повернут – сад догола раскрыт,
звездная плоскость поставлена им на ребро.
День, разрастаясь, вбирает в себя неолит,
толпами уличный люд плодоносит с утра.
Вот ты и видишь: не было ничего ни с каких пор,
кроме того, что день, полным нутром, судный вращал свет,
взгляд создавая в себе, как тысячеглазый свод,
в толпы без берегов, как кровь, свертывая простор.
Вот ты и слышишь, сжимая в руке телефонную рукоять:
раненый сад вещества в тебя, как сердце, стучит.
Но не подумает время тебе в этот день предъявить
ни отработанный счет, ни выхлопной мрак, ни нулевой стыд.

ПОРТРЕТ ОТЦА

И зеркало вспашут. И раннее детство
вернется к отцу, не заметив его,
по скошенным травам прямого наследства,
по желтому полю пути своего.

И запах сгорающих крыльев. И слава
над желтой равниной зажженных свечей.
И будет даровано каждому право
себя выбирать, и не будет ночей.

Но стоит ступить на пустую равнину,
как рамкой резной обовьется она,
и поле увидит отцовскую спину
и небо с прямыми углами окна.

А там, за окном, комнатенка худая,
и маковым громом на тронном полу
играет младенец, и бездна седая
сухими кустами томится в углу.

И мак погремушкой ударит по раме
и камешком чиркнет, и вспыхнет она
и гладь фотоснимка сырыми пластинами,
как желтое поле, развалит до дна.

Прояснится зеркало, зная, что где-то
плывет глубина по осенней воде,
и тяжесть течет, омывая предметы,
и свет не куется на дальней звезде.

НЕОН

Вот и слово прошло по прокатному стану неона,
сквозь двумерную смерть и застыло багровой короной
над пустым магазином, над потным челом мироздания,
нашатырной тоской проникая в потемки молчания.

И над желтой равниной зажженных свечей обгорают
крылья вогнутых окон, и маковым громом играют
две бумажных обертки на тронном полу магазина,
ослепляя себя, как миражные пятна бензина.

Это каплю дождя, как бутон нераскрытой снежинки,
электрический свет разрезает на две половинки,
на две полых бумажки, как будто даровано право
им себя выбирать и травиться двумерной отравой.

И по желтому полю, по скошенным травам наследства
желтизной фотографий восходит размытое детство
в законное небо, мерцающая прямыми углами, –
море в жилы вошло и замкнулось в обугленной раме.

Плачут деньгами толпы, доносится музыка злая,
словно огненный бык здесь мочой наследил, ковыляя,
словно плачет по гриве, по конскому волосу лента.
И пустой магазин одинок посреди континента.

О, ночной магазин, в неподвижные двери экстаза
ты впускаешь и едва замечаешь вполглаза,
что отвесный прибор из замочных разодранных скважин
еле виден тебе – он как будто неровен и влажен.

Это гладь фотографий сырыми дождями размыло,
это желтое поле пластами себя развалило.
Перепахано слово. И твой зачарованный пленник –
не озноб и не страх – я держу на горбу муравейник.

Две бумажки твои догорят, задыхаясь от вони,
по прилавкам твоим разбредутся быки или кони,
и, неоновой кровью и деньгами в прах истекая,
беспробудные толпы замрут, как тоска городская.

Но нельзя подчиняться, чему еще можно открыться.
На оттаявший голос поднимутся скорбные лица.
И засохнет, как кровь, посреди шевелящихся денег
так похожий на твердь и на черный пейзаж муравейник.

ОРАНТА

За звуковым барьером, в слоеном сугробе агоний
луна обтянута кожей молящей твоей ладони.
Здесь глушь затмевает глушь, ветвистую кровь круша,
здесь горсть, как черенок упавшего навзничь ножа.

За звуковым барьером изгиб возвращенной стаи
очертит твое лицо колодцами лунных статуй,
тыходишь в каждый из них смертью моей и всех.
Тает морозный нерв – не выпускает страх.

Мать скорбящая, Память, ты – вечное отраженье
на гневной трубе Архангела, надежда на всепрощенье.
Развяжешь верхнюю воду камерных длин бытия –
на Покрова вернется тополиная свадьба твоя.

Шепот ночной трубы на свету обратится в слово,
сфера прошелестит смальтой древесной славы,
кубических облаков преобразится взвесь.
Миру простится гнет. Небу простится высь.



КЛЯТВА

После пекла проклятий, торжественных одиночеств и спровоцированных странствий припадем к одному источнику и будем пить разную воду. Назойливая беззащитность сменится, как сезон, и будет дарована недоступность. А стать недоступным, защититься от зноя, от стужи или стыда – это одеть себя или надеть на глаза повязку всему, от чего ты зависишь, прибегнуть к последнему средству – клятве.

Поклясться – повязку надеть на глаза, даже если их много – тех, перед кем ты клянешься. Одежда твоя должна выглядеть как броня или как хищный мех. Место, где ты стоишь в рубище или парче, тебя отделяет от всех. Это должна быть гора или повязка для глаз, это не выбор такой, это одно и то же.

А если нужен свидетель, он-то всегда уж найдется. Свидетель – это не тот, кто видит, и не тот, кто знает, и не тот, кто смог бы тебе помочь. Он – тот, кто нужен тебе в залог: попутный голос, чрево удач, Выбери-Выражения, камешек-оберег, нечаянный посох, непотопляемая соломинка, добро во плоти: ангел-хранитель – или все то, что исконно твое, неприкосновенно и неспособно к размену.

Если свидетелей нет, если ты мал до того, что и невидим для них, что остается? Провалиться на месте, пойматься на слове. Можно топнуть и так, чтоб провалиться, можно и переполниться словом, чтобы оно из тебя торчало.

Обещание клятвы – приказ и мольба, зов к стихиям остаться в основе, в первичных своих элементах. Чтобы земля оставалась землей, вода – водой, воздух – воздухом, а огонь – огнем. Потому что есть то, что уж совсем неделимо, что могло бы занять место в ряду первичных, простых категорий, составляющих правду – то, в чем мог бы стать явленным ангел-хранитель, или в чем безусловная ценность для заклинаемого.

Клятва – залог, но нельзя оставить в залог то, что не принадлежит тебе. И что вообще можно оставить в залог и ради чего? Уравнение клятвы – в равновесии обретения и обладания: то, чего ты хотел бы достичь, то, что ты хотел бы иметь, должно быть равно тому, чем ты владеешь.

А чем ты владеешь таким, что могло бы сравниться и уравновеситься с тем, что стало теперь для тебя незаменимым в своей необходимости, что повергает тебя в соблазн обреченности? Речь, должно быть, идет о том, что спасает тебя и помогает тебе быть равным себе и без чего от тебя остается одна оболочка, маска, заводное твое подобие, обесточенный, но очевидный двойник: мало тебя, и ты неполон без того, чем живешь, без чего любое пространство – тюрьма на шарнирах, да и тело твое – единица неволи.

Есть предметы и вещи, которые рядом с тобой, но ничего не говорят о тебе, и нет у тебя языка, общего с ними, ты даже для них – как магнитная лента, которую можно стереть, и ничего не случится. Но есть какая-то неприкосновенность к тому, чем ты обладаешь. Это какой-то ценностный круг, вступая в который, вещь становится неразменной: бесценная ценность. Даже что-либо незначительное для других может войти в этот круг. Обретать – это вводить в этот круг что-либо, не нарушая его, потому что теряет ценность не то, что ты выводишь из него, и не сам этот круг, а теряется твоя власть над ним, обесценивается твое обладание. Уходить – это расставаться с чем-либо, не теряя того, что в этом круге. Он движется за тобой повсюду, не упуская тебя из виду, как будто держит тебя в луче, и пока он – свет, ты жив и равен себе. Если же этот круг неясен – в пробелы, сквозящие в нем, устремляется ревность.

Почему обреченный на ревность может дойти до убийства? Из стремления присоединить к себе часть или себя к части, чтобы восполнить целое? Восстановить – установить – остановить. Ревность не конструктивна, конечно, она ничего построить не может, но у нее – такие планы! В строительной панике, начиная постройку с хрустального купола, нацелясь на целое: дерево – враз, жезл – взрывом, по головам – крест-накрест, дирижируя верой. Только все это – именно грех неверия. Потому что во всем клятва и ревность призваны усмотреть только часть от чего-то, безразличную к целому.

Присяга – та же клятва, цемент, круговая порука, обряд посвящения. Присяга возводит в какую-то степень – другую: тебя отличают. Степень клятвы в ее высоте: чем выше клятва, тем глубже падение. Присягают тому, что обладает мистической силой, тому, что бесконечно священо. Но у клятвы есть и предел, за которым одно – обмирщение клятвы.

Тот, кто клянется, стремится ускорить ответ.

От ложной клятвы отречься нелегко, почти невозможно, и нужно немалое мужество, дабы не пытаться себя оправдать своей умаленностью. А кто тебе мог бы сказать, велик ты или мал для того, чтобы стать заложником или жертвой, – клятве ты нужен весь.

Время клятвы – миг катастрофы: все, что есть в тебе лишнего, неизбежно отсохнет, даже если бы это была лучшая часть тебя, потому что ты в этот миг тождествен тому началу, которым клянешься. Ведь клятва – это война: либо она заражает тебя нетерпением, либо желание твое обрести что-нибудь без пустых обещаний поставит тебя за край, за предел. Ты впадаешь в протрацию оков, для тебя в этом смысл гармонии.

В принципе клятва невыполнима, потому что человек не может предусмотреть всех причинно-следственных связей, – это основа религиозного

сознания. То есть тот, кто клянется, ответственен в том, что ему подвластны все детерминанты, он ставит себя на место промысла Божия. И потому неизбежно лжет, если не оставляет в залог свою жизнь. Но он может погибнуть, не исполнив своей клятвы.

Вот говорят: «Любовь – до гроба», и ты видишь, как этот кто-нибудь либо сужает себя до нетерпения, которое рождает и нетерпимость, либо идет на заведомую ложь.

Искушение поклясться велико, ибо клятва – это миг нетерпеливого самооправдания, самоутверждения: этим себе выдаешь аванс, не думая о том, придется ли его оплачивать.

Клятвопреступление – в неизбежной ложности клятвы. За клятвопреступление – тяжелое наказание. Клятвопреступник – закономерный изгой, отверженный неплательщик.

Клятва предполагает жертвенность и подвиг: поклянись – и, не совершив ничего, ты в сонме героев и мучеников. Клятва сама оправдывает себя перед теми, кому ты клянешься. И если она – театральное действие, ты для нее – несомненный герой, а чтобы зрителей было побольше, оставь это ей – ведь хватит и одного.

Альтернатива молитвы, клятва – поступок и слово, а вера – всегда молчалива, как постоянный поступок. Вода одного источника для них различна. Добыча и упование исключают друг друга.

Дать слово и поклясться – это одно и то же? Если слово чести – анахронизм, от тебя требуется не оно, а клятва: честь не могла бы тебя обеспечить.

Клятва – внешнее от чести, присяга – обязательное от клятвы, честь – внутреннее мужество и молчаливый подвиг: свобода выбора или необходимость первичных, простых категорий.

...ревность – сознание, состояние ущербности. Ощущение потери или недостатка цельности, тоска по цельности; желание присоединить к себе часть или себя к части; желание во что бы то ни стало восстановить целое. Ощущение самого себя нецелым, определение себя по отношению к какому-либо объекту как к части возможной (необходимой) для восстановления целого; абсолютно внешнее (объектное) отношение к возможной части, недостающей для образования (воссоздания) целого.

Если же отношение к объекту изнутри его, если именно этот объект может стать той возможной и необходимой частью, которая способна воскресить утраченную цельность, – если ясность такая достигается, то цель-

ность восстанавливается сама собой, а объект, испытываемый как возможная часть целого, остается целостно объективным...

И ревность, и клятва связаны с грехом неверия.

Лучше всего упаковывает вещи огонь: дым и пепел. Но если останется много пепла?

Грех – не граница, а состояние: это все равно, что потерять какое-либо из качеств – лишиться одного из чувств (слуха, etc.) – вернуть которое либо невозможно, либо стоит невероятных усилий. Но – этого мало: это еще и не подозревать, что то, чего нет у тебя, есть у других...

Почему собственник, теряющий что-то свое, считает себя жертвой? Мол, если я жертва – гадай по моим внутренностям, только живота не трогай. Выходит, для него тот, кого он теряет – палач. Он для него – одновременно и в стороне, и где-то внутри, в животе, как присущая внутренность, внутреннее дело. Да еще и жрец (от слова «жрать»), палач, подлежащий суду. В котором он-то, собственник, – и судья, и свидетель, и обвинитель, и защитник – всё вместе. Но ведь кражи-то не было. Просто кто-то с кем-то разминуслся.

В раю нет ревности – все друг друга простили, увидели, что и прощать-то нечего было, потому что и вины не было, нет местничества – все на своем. Но не только. Хафиз: мой враг – товарищ по несчастью. Продолжим? Брат во Христе. Брат во вражде. Обратанье. Свадьба? Но в наше время (и это хуже всего) нет ни друзей, ни врагов, ни любви, ни ненависти, ни тьмы, ни света – и если дело так пойдет дальше, не будут различаться ни ночь ни день, а значит, и времени не будет. Апокалипсис? А может быть, мы и так уже в раю? Враг, твой враг – двойник? соперник? (От «пря» – битва, сражение). Двойник-соперник: он хочет того же, хочет что-то отнять, занять твое место, выместить тебя, вытеснить место под солнцем, в сердце, на вершине власти, из твоего владения. Он что, двойник? Он – то же, что и ты? Где двойственному тесно, там, на этом месте, схлестываются пространства, сужаются так, чтоб не разойтись.

Битва деревьев, если время этой битвы сжать, выглядела бы ужасной, а так, кто помнит об их похоронах?

И где начало этому? В истории? В событиях до нас? Тогда и нам не дано дойти до полного очищения. Человек мал, а история велика. А надо ведь наоборот – история не должна быть больше человека. Отсюда – к общей истории с кем-либо: она исчезает, как только перестает быть общей, то есть освидетельствованной, личной. Но более она лишается смысла, когда она превосходит человека, подавляет и саморазрушается. А нет истории, нет и времени.

В истории причин нет – есть только следствия. Причина ли Тунгусский метеорит? Но если все время свою жизнь рассматривать как следствие того, что произошло когда-то и, разумеется, не по твоей воле, то остается искать причину, но можно только запутаться, потому что перво- и просто причины нет, так как при ближайшем рассмотрении она тут же оказывается следствием.

Алмазная звезда – место земли.

Вокруг алмазной звезды вращают Кэтрин и Емельку (портрет Екатерины II был записан портретом Пугачева), красные гробы на Марсовом поле и под Кремлем, как будто место, где стоял Храм, было заранее определено к тому, чтобы быть священным, еще среди дебрей и болот. И почему? Потому что не зря ведь именно на этом месте вместо него, Храма, додумались ставить свой «дворец», прямо-таки по рецепту вавилонской башни. А для чего им верх-то? При отрицании его-то (см. ниже)? И по его же роковой развертке-сценарию, в финале предполагающему крах затеи, ибо неба, небесного достигают на других путях, других лестницах. Храм строится сверху вниз, потому-то он и выше любой башни. Но место так и манит, притягивает из какого-то дикарского подражательства, из желания обрести высшее, верховное, симпатическим путем, поворачивая вокруг алмазной звезды весь мир, даже и не подозревая, что она – не ось вращения, а начало, которое не обретишь простым поворотом, напыливанием короны или самозванным объявлением короной чего попало, чего вздумается.

Формула: $O + O + \text{тот, кто считает}$ (есть такая причуда в современной математике), похоже, соответствует исторической науке, то есть историческая ситуация плюс исторический персонаж никак не смогут обойтись без того, кто составляет эти исторические слагаемые. То есть тот, кто начинает счет, сам попадает в эту вереницу (или, точнее, триаду счета). И это еще притом, когда историк максимально объективен (максимально, насколько это возможно, самоотстранен от вмешательства в процесс счета, что ведь не может не сказаться на самих результатах его). В большинстве случаев тот, кто считает, знает сумму заранее, и то, что подгонка под ответ является логи-

ческим преступлением, ему неведомо. И кажется очевидным заранее известный результат (события-то давно совершились, они – в прошлом). Однако то, что для всех лишь извинительное недоразумение, для историка – научное преступление. Он хоть и пророк наоборот, но все-таки пророк, то есть проводник, а не источник.





расстояние между тобою и мной – это и есть ты

1986

Расстояние между тобою и мной – это и есть ты,
и когда ты стоишь передо мной, рассуждая о том и о сем,
я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты,
и ты смотришься в них и не видишь себя целиком.

Словно зеркало жаждой своей разрывает себя на куски
(это жажда назначит себя в соглядатаи разных сторон) –
так себя завершает в листе горемычное древо тоски,
чтобы множеством всем предугадывать ветра наклон,

чтобы петь, изъясняться, молчать и выслушивать всех,
самолетной инверсией плыть в плоскостях тишины, –
но блуждает в лесу неприкаянный горький орех,
словно он замурован бессонницей в близость войны.

Где он, рай с шалашом, на каком догорает воре?
Я же слеп для тебя, хоть и слеplен твоею рукой.
Холостая вода замоталась чалмой на горе,
и утробы пусты, как в безветрии парус какой.

Как частица твоя, я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе и боюсь – не сносить головы,
вот я вижу, что ты поднимаешь, как ревность, пращу,
паровозную перхоть сбивая с позорной листвы.

Словно ты повторяешь мой жест, обращенный к тебе,
так в бессмертном полете безвестная птица крылом
ловит большее сердце, своей подчиняясь судьбе,
и становится небом, но не растворяется в нем.

Да, я связан с тобой расстояньем – и это закон,
разрешающий ревность как правду и волю твою.
Я бессмертен, пока я покорен, но не покорен,
потому что люблю, потому что люблю, потому что люблю.

НА НОВЫЙ ГОД

Вооруженный четверней сезонов,
сияющих, как ярусы ковчега,
вплывает год под шорохом кометы,
бросающей тигриные следы.
И мы вступаем на помост вседневный:
мы нижний ярус отведем для снега,
второй засеем, третий даст нам всходы,
а на последнем будем ждать плоды.

Он создан нами – помни – даже если
он сделан кое-как, то нет причины
в нем сомневаться, потому что эта
его постройка означает – жить.
Уже раздуты щеки ветровой машины,
набрякли жилы ветровой машины,
будильник заведен на воскресенье,
чтоб ледяное солнце сокрушить.

Но больно видеть, что душа поката,
окружена экранами сплошными,
где что-то происходит подставное,
и ничего не видно из-за них.
Смерть подражает очертаньям жизни,
и речь в проказу вбита запятыми,
и непривычно видеть эти тени
от внутреннего солнца в нас самих.

А что, когда и я – всего лишь проблеск
глазного дна, куда своим коленом
так давит свет, что впору грызть запястья
и в пасти волка сердце находить?
Но вот зерно светлеет на ладони,
оно – ковчег с многооконным креном:
для каждой твари есть звезда и место.
Свежеет ветер – надо жизнь будить.

* * *

Камень плывет в земле здесь или где-нибудь, –
скол золотых времен, сторож игры и толп,
но из-под ног твоих он вырывает путь
и отсылает вверх, чтобы горел, как столб.

Я не блудил, как вор, воли своей не крал,
душу не проливал, словно песок в вино,
но подступает стыд, чтобы я только знал:
то, что снаружи крест, то изнутри окно.

Не разобьешь в щепу то, что нельзя унять,
и незнакомый свет взгляд опыляет твой,
и по корням цветов гонит и гонит вспять
цвет золотых времен, будущих пред тобой.

Ближе, чем кровь, луна каждому из землян,
и по числу людей множится лунный род.
Видишь: над головой улиц или полян
лунных пейзажей клин поднят, как в перелет.

НЕРАЗМЕННОЕ НЕБО

Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой ночной,
ты глядишь на меня, как охотник с игрушкой стальной,
направляющей шашки в бессвязной забаве ребенка –
будто все мирозданье – всего лишь черта горизонта,
за которым известно, что было и будет со мной.

На обочине неба, где нету ни пяди земли,
где немислим и свод, потому что его развели
со своим горизонтом, – вокруг только дно шаровое,
только всхлип бесконечный, как будто число даровое
набрело на себя и его удержать не смогли.

И я понял, как небо в себе пропадает – почти
как синяк, как песок заповедный в последней горсти,

если нет и намека земли под твоими ногами,
если сердце, смещенное дважды, кривясь между нами,
вырастает стеной, и ее невозможно пройти.

На обочине неба, где твой затаен Козерог
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверек,
где Медведицы воз укатился в другие просторы,
заплетая созвездья распляской в чужие узоры,
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.

Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,
разлучает враждой достоверных, как ген, Близнецов –
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре?
Это час после часа, поймавший себя на ударе
по стеклянной твердыне запекшихся в хор голосов.

И тогда мы пойдем, соберемся и свяжемся в круг,
горизонт вызывая из мрака сплетением рук,
и растянем на нем полотно или горб черепахи,
долгополой рекой укрепим и доверимся птахе,
и слонов тяготенья найдем для разгона разлук.

И по мере того как земля, расширяясь у ног,
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,
мы увидим, что небо начнет проявляться и длиться,
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, –
мы увидим его и поймем, что и это порог.

Другу Л.

Попробуй мне сказать, что я фантом
и чья-то часть, болящая при этом,
а если нет, то чем же болен я?
Что заставляет незнакомым ртом
меня вопить и вздрагивать скелетом
под тяжестью чужого бытия?

Мне кажется, что плоть моя – часы
чужой души, затерянной в страданье,
глядящей на себя со стороны –
и торг идет, и кренятся весы,
и псы ворчат от моего дыханья,
и некуда бежать, как от вины.

Так из глуши пустого рукава
рванется жест призыва и погони,
сшибая вежи призрачных колонн, –
и под землей, не помнящей родства,
очнется боль натруженной ладони,
зарытой до скончания времён.

И даже не во сне я вижу вдруг,
что мне знакомо в данном человеке,
а он мне не встречался никогда.
как будто время, завершая круг,
вползает в лабиринт дактилотеки,
не дожидаясь Страшного суда.

Как будто время корчится петлей
в самом себе и путает события.
И мой близнец, отравленный тоской,
все ищет мир, не тронутый золой,
пытая сущность самого найти
и свой удел держа моей рукой.

Так чем же крепче сил моих замок
и чем надежней сердце без изъятья?
Мне кажется, я слаб на договор.
Но будто кто-то выудил зарок,
чтоб край небес со сломанной печатью
меня пронзал, как вспышка, как укор.

ГДЕ СОРОК СОРОКОВ

В отвесном воздухе стальных новостроек
вдруг увидишь контур византийской розы –
старинный купол, литой, один из
сорока сороков с куста лепного,
перенесенного сюда, на север.
Он до сих пор пестует речью.

Как под водой, пузырится воздух –
вся улица мреет в купольной давке,
как будто куст с сорока сороками
ушел под воду степной Каялы,
и выдыхает гроздя маковок,
и омывается слезой чистой.

Широко разбрелись берега Каялы,
до самых крайних рубежей державы,
и переполнились водами Волги,
сплелись струи Дона с Амуром,
не преломились хребтом Урала,
как Млечный Путь, озаряя небо.

То, что стояло на оплеухах,
ненастной кровью кропило сердце,
не насыщаясь сгущенным гневом,
так и осталось стоять на отшибе –
и не гора шатается, а это
на горном склоне ковыль плещет.

Есть домовая у любой остановки,
есть проводник у каждого путника,
он – как стремление куста к росту,
себя явить и восполнить образ.
И если молния стоит, как небо,
то, значит, небо ее помнит.

Один лучше, чем тысяча тысяч,
но ведь и он из той же, как каждый,

тысячи тысяч, с куста того же,
что растет и ширится из его сердца.
Не поднимай душу чужую
выше своих глаз, не теряй из виду.

ХОЛМЫ

Этот холм в степи – неумышленно голый, –
это узел пространства, узилище свету.
И тревожится сердце, и ритм тяжелый
так и сносит его. И ветра нету.
Черепя из полыни как стон простора
выгоняют тропу, оглушают прелью.
И тропа просеивает щебень до сора
и становится пылью, влекомой целью.
И качается зной в монолитной дреме
самоцветами ада в мареве этом,
и чем выше тропа, тем пыль невесомей
и срывается в воздух гнилушным светом.
И тот же холм в степи, крутой и голый,
и та же тропа проступает в бурьяне
и, взбираясь по круче в тоске веселой,
растворяет щебень в сухом тумане.
Западает в песок и отвесной пылью
обрывается в воздух, такой же рваный,
монолитной трухой, и зноем, и гнилью –
только свет как будто другой и странный.
Или так показалось: ведь холм все тот же –
где им тут, в пустоте, разойтись обоим?
И одна и та же – как кровь под кожей –
их руда топорщит своим жилобоем.
Уберу ли камень с холма, чтоб где-то
на другом холме опустело место,
или вырву цветок незрячего цвета,
словно чью-то ладонь отделяя от жеста,
или просто в песок поставлю ногу,
чтобы там, где камень исчез, забылся
и пропал цветок, неугодный Богу,

отпечаток моей ступни проявился?
Но на склонах этих один заразный
выгорает песок в ослепшую грудю.
Почему же свет осеняет разный
этот холм, помещенный нигде и всюду?
И ты видишь в себе, что здесь поминутно
совершается праздник и преступленье
и на казнь волокут тропею распутной,
начинается подвиг, длится мученье.
Он стоит, лицо закрывая руками,
в одиночестве смертном, один, убогий,
окруженный иудами и врагами,
исступленной кровью горя в тревоге.
Или он – единственный здесь, и это
сознается им, несмотря на злобу,
несмотря на мертвую маску света,
заскорузлость воли, ума хворобу?
Это было бы жертвой: то и другое,
подвиг – если он здесь одинок и страшен,
или праздник – когда под его рукою
оживает единственность толп и пашен.
Это жертва – и та и другая – в казни
обретает залог и долг продолженья.
Только свет надо всем излучается разный:
свет укора и праздничный свет искупленья.
Или чары потворства грозят любовью,
или молнии мечут бранные стяги,
или холм обряжают горящей кровью,
словно это письмо на обратной бумаге?
Ты, представший с лицом, закрытым руками,
опусти свои руки и дай очнуться
от твоей несвободы, вбитой веками!
Горек хлеб твой, и жертвы нельзя коснуться.

НИША И СТОЛП

Слепок стриженной липы обычной окажется нишей,
если только не входом туда, где простор каменеет,
или там погружается в гипс и становится тише
чей-то маленький быт и уже шевельнуться не смеет.
Словно с древа ходьбы обрывается лист онемевшей стопою,
словно липовый мед, испаряясь подвальной известкой,
застилает твой путь, громоздя миражи пред тобою,
выползает из стен и в толпе расставляет присоски.

Сколько душ соблазненных примерить пытается взглядом
эти нимбы святых и фуражек железные дуги,
чтобы только проверить, гордясь неприступным нарядом,
то ли это тавро, то ли кляп, то ли венчик заслуги.

Или чучело речи в развалинах телеканала,
или шкаф с барахлом, как симметрия с выбитым глазом,
или кафельным храм, или купол густого вокзала,
или масть, или честь, оснащенная противогазом.
Одноместный колпак, как гитарная радуга барда
или колокол братства с надтреснутой нотой в рыданье,
ветровое стекло, осененное нимбом с кокардой
над стальными усами, проросшими всем в назиданье.

Не тайник, не тюрьма, не гнездо, не мешок, не могила –
это столб наизнанку, прожектор с обратным свеченьем,
западня слепоты, провиденья червячное рыло,
это ниша твоя, горизонт в переулке осеннем.
Не капкан, не доспех и не просто скелет насекомый –
это больше в тебе, чем снаружи, и больше сегодня, чем было.
Ты стоишь на столбе, но не столпник, горящий в объеме,
ты открыт, но не виден, как будто тебя ослепило.

Так шаги в этот зев, затаивший последнее слово,
в этот ложный ответ на его же пустую загадку,
в этот лжелабиринт и подобие вечного крова,
в этот свет-пересмешник, сведенный к немому остатку.
И царь-колокол там не звонит, и царь-пушка, увы, не стреляет,

Медный всадник не страшен, и все потому, что пространство канцелярски бесстрастно тебя под ответ подгоняет, провоцируя зависть и гордый нарыв самозванства.

Ты способен извлечь доказательство права на дулю самому бытию в виде царских родимых отметин, словно ты – Себастьян, тот, что кожей выплевывал пули, ты соправен природе и этим себе незаметен. Самовластный, как рекс или Каин с клеймом абсолюта, прирученный ловушкой, избравший содом тяготенья, ты живешь, как мертвец, потому что позволил кому-то убивать без разбора все то, что претит приручению.

Да, ты вышел нагим, но успел обрасти позолотой ежедневной приязни, влюбленности в самоубийство. Ты безумен, как тать, продырявивший бездну зевотой, заполняемой наспех дурманящей страстью витийства.

И не думал о том тот, кто стену ломал на иконы, что стена, как в размол, попадает в разменную кассу, что ее позолотой окрасится век похоронный, век, что пишет быльем по крови, как маляр по левкасу. Этой падшей стеной ты накрыт, как мудрец шлемофоном, где, как тысячи ниш, осыпаются камешки свода и шуршат, и из них в тяготенье своем неуклонном вызревает стена или только пустая порода.

ЖАЛОБА ИГРЫ

Ты – куст и разбойник в кустах, ты – ветер, и ты – воздушная яма, куда похоронный гранит сорвался, заполнив ее до краев пустоты, и стал монументом, который давно уж забыт.

И рубашка для карты с чужого плеча
на тебя навалилась, любя,
и молекулы ветра, как лед, грохоча,
перемешивать стали тебя.

Крутясь в построеньях своих, произвольных, как смерть,
молекулы ветра свивались в пластмассовый свод,
тебя поглощала его бутафорская твердь,
как воды потопа, текущие наоборот.

 Это маской безмолвия ты облечен,
 вовлечен в хоровод, обречен
 на круженье по миру, избравшему сон,
 как возможность свою и закон.

От черного нимба повторного солнца в глазах
твоих зарябило, и день закачался, как стог, –
опять воплощая тебя в бесконечных часах,
уже воплощенное время дробило итог.

 Ты вернулся без спроса в себя, наугад,
 в неурочное время, не в срок.

 Ты очнулся и понял, что ты – автомат,
 пассажиropотоков царек.

Ты понял, что ты – автомат, но твое торжество
тебя же и валит в разъятое сердце твое.
Ты – власть, во владеньях которой нельзя ничего
найти, ничего, кроме собственной власти ее.

 Ты – как обруч на бочке, а видом венец,
 замыкающий волну свою.

 Ты – в потоке стыда обреченный пловец,
 ты бесплоден, как сад на клею.

Но ты – порошок от убийства, успешный всегда,
инъекция от наводнений и мазь от суда,
ты – бинт ото всех опозданий на все поезда,
каленое жало от страха и нож от стыда.

 Милосердье в потворство твое перешло
 и с магнитной дорожкой срослось,
 никого не смущает твое ремесло,
 и надежда кружит, как пришлось.

 И надежда кружит, как пришлось,
 под твоей первобытной личиной,

и дразнит, и ведет на авось,
и ломает причинную ось,
становясь неизбежной причиной.

Вот ты в собственном сердце болишь,
сознавая, что ты невозможен
тем, что в чучело смерть норовишь
поместить и оттуда глядишь
на себя, как тупик, непреложен.

Ты в своем затененном мозгу
назначаешь себя истуканом
и себе отдаешь, как врагу,
на правеж, высветляющий згу
в голошенье твоим бесталанном.

Ты зажат, как вороний язык,
вездесущим, всезнающим клювом,
словно твой допотопный двойник
для тебя уготовил тупик,
накачавшись снотворным раздувом.

И ты клюв разжимаешь ножом
в ожидании праведной вести,
ты выходишь на сушу вдвоем
с сокровенной любовью, и гром
ставит знак очистительной мести.

ПРОРОКИ:

ДРЕВНИЙ (Псевдопророк)

И посох вздыбится и прянет на царя,
замка венчального развяжется прореха,
и своеволия развяжется потеха,
треща укорами и сварами горя.

Забудь, что с небом ты когда-то был на ты –
уже вот-вот веретено закружит пряжу,
пойдет приказывать, сбирая на рубаху
парализующую кротость немоты.

И густопсовая зардеется парча
еще неявными промоинами крови,
пророки в прошлое вперятся наготове
перепредсказывать и шкурничать сплеча.

Вторым пришествием отмеченный недуг
пройдет дорогами Египта, Ниневии.
Нас могут вспомнить небеса еще живые,
нас долго не было, но завершился круг.

Мы ровень с теми, для которых мы вверху
перед возможностью исчезнуть и продлиться,
кто мог воскреснуть, опоздает воплотиться
в тщете бесславия, как в свалке на духу.

Сопровождающий едва ли господин
обычной радости, любви обыкновенной.
Но посох вырвется и грянет по вселенной:
– Уйдите все! Теперь пойду один.

СОВРЕМЕННЫЙ (Антипророк)

Если горы читаются слева направо
или так же неспешно в обратном порядке,
но не снизу – как днем, и не сверху – как ночью, –
это значит, что время устало воочью,
отказалось от возраста, и без оглядки
изменилось его неподкупное право.

И когда ты в угоду бессчетным затеям
навязаться захочешь какой-нибудь цели,
расплетая дорогу на тропы провидца

(словно подвиг Гераклу навязан Антеем для того чтобы только в безумном веселье от земли оторваться и ввысь устремиться), –

вот тогда ты увидишь впритык, изумленно прозревая, что нет ни вблизи, ни в округе ни тебя, ни того, что тебя возносило. Ты поймешь, как ужасно зиянье канона. Ты – аспект описанья, изъятый в испуге, наводящая страх бесприютная сила.

Можно вынуть занозу из мака живого, чтобы он перестал кровяниться в отваге, можно вынуть историю из пешехода, научить красотой изнуренное слово воздвигать закрома из болящей бумаги, чтобы в них пустовала иная природа.

Можно сделать парик из волос Артемиды, после смерти отросших в эфесском пожаре, чтобы им увенчать безголовое тело, тиражировать шок, распечатать обиды или лучше надежду представить в товаре, но нельзя, потому что... и в этом все дело.

Ты увидишь, как горы уходят, и с каждой – горизонт и возможность иного простора, и умение помнить времен исчисление. Если только тобой управляет паденье в неумную жажду высот разговора, – все терзанья твои объясняются жаждой.

* * *

И отчаянье в глазах метнется, словно сизый огонек по пеплу, к выходу запретному, не зная, спрятаться ему или исчезнуть.

То, что было на канве рисунком,
для него само канвою станет:
и угар, мерцающий в полыни, –
все равно, что звездная прививка.

Ничего-то для него не вечно,
кроме невозможности случиться:
а от моря до слезы творящей –
только соль протяжного мгновенья.

И поэтому любое море –
отголосок всех морей небывших, –
утаившее в своих глубинах
плач всего, что не могло родиться.

ТЫ, КАК СИЛОЙ ПРИЛИВА...

Ты, как силой прилива, из мертвых глубин
извлекающей рыбу,
речью пойман своей, помещен в карантин,
совместивший паренье и дыбу.
Облаками исходит, как мор и беда,
отсидевшая ноги вода.

Посмотри: чернотой и безмолвием ртов,
как стеной вороненой,
зачаженные всплески эдемских кустов
окружают тебя обороной.
И, свою спиной повернувшись, луна
немоту поднимает со дна.

Даже если ты падать начнешь не за страх –
не достигнешь распада,
Ты у спящего гнева стоишь в головах,
как земля поперек листопада.
Сыплет ранами черной игры листопад,
блещет сталью своей наугад.

Ты стоишь по колени в безумной слюне
помраченного дара,
разбросав семена по небесной стерне
как попытку и пробу пожара,
проклиная свой жест, оперенный огнем,
и ладонь, онемевшую в нем.

Не соседи, не дети твои – эти сны,
наяву ли все это?
Ты – последняя пядь воплощенной вины,
ты – свидетель и буква света,
ты – свидетель, привлечший к чужому суду
неразменную эту беду.

Оттого ли, что сталь прорастает ножом
и стеной обороны,
завернувшись внахлест двуязычным ужом,
как причет или плач похоронный, –
ты, как рану, цветок вынимаешь из пут
недосчитанных кем-то минут.

ЗАВОЕВАНИЕ СТИХИЙ

1

Так возникает смутное пространство
между рукой твоей и притяженьем
земным, и что бы там ни поместилось:
весы, качели, виселицы, ямы –
орудия убийства или счета –
и сколько их? – и все они – всего лишь
продление руки для прирученья,
завоевания одной из многих
стихий, способных поглощать одних
другими – стало быть, и жертвы
там неизбежны, и такая бойня
между сраженьем первым и последним,
что как не пожалеть о летаргии:
я весь объят отсутствием, я сплю.

2

Завоевание стихий подобно
отождествлению с тем, что приручаешь,
переливанью собственного «я»
в одну из форм, где радуется догадка,
что воскресенье все-таки возможно,
и не простым извечным переходом
из рода в род, из родины в народ,
а частным лицеизрением событий.
Кто б смог картину от тюремной рамы
освободить, потряхнуть ее за угол,
чтоб море заплескалось, отрезвело
безобразной стихией, чтобы между
рукой и ветром мог возникнуть парус,
возникнуть и уплыть. И раствориться
в своей стихии, и осиротеть.

3

Чтоб стать огнем и чтоб овеществились
твой жар и гнев, достаточно устроить
между рукою и огнем свой долг,
свой изначальный грех перед системой
какой-нибудь, с которой ты сроднился
настолько, что она – как состоянье
болящей кожи, рвущейся к всезнанию, –
горит, как пламя, и никто надежней
не смог бы так упаковать предметы,
чем тот огонь, – куда нейтронной славе!
Все – от соборов до концлагерей
он разместит на острие иголки,
его усилием вырванной из камня,
который мог бы стать краеугольным,
а это значит – точкою отсчета.

4

Я был как письма самому себе
из будущего моего, оттуда,

где возраст, предназначенный на вырост,
уже заполнен прошлым до предела,
к тому же не моим, я был орудьем
для приручения его, дорогой
и путником на ней, и даже целью,
хранилищем, проводником, который
не мог меняться, изменять себя
без опасенья изменить себе.
И все-таки душа припоминает
сама себя и что она – не только
всего лишь место где-нибудь в груди,
а то, с чем может вдруг отождествиться
пространство – как забытое письмо,
оставленное для тебя на случай –
между рукой и будущим твоим.

5

Есть горизонт у каждого предмета,
и он не обязательно внутри
него, а может быть снаружи.
Не потому ли кажется луна
намного ближе, скажем, чем Байкал –
ведь за Уралом все как будто рядом –
поскольку он далек от нас, как миф?
Таков же горизонт и у вещей,
во времени истаявших и ставших
друг другу ближе, – и вдали от нас
они всю взаимопереходят,
дыша одним мифическим туманом:
и почему троянскому царю
не угодить в покои фараона?
Есть зона, где любая очевидность
предстанет мифом прямо на глазах,
едва столкнешься, где рука над миром
продолжена в незримом инструменте, –
и это философский камень власти.

6

И кто-то там поет настолько тихо,
что тень мелькнувшей птицы неподвижна
и не дает уйти лишь потому,
что никого не держит, уступая
тому, что хоть чуть-чуть ему подобно.
Но ты был кровь, и ты, дающий душу,
был каждым и для всех и неразменным, –
ты, никогда не приручавший хлеба,
был предназначен каждому, как хлеб,
не умножал того, что умножению
не подлежит, – и ты был безоружным.
Был безоружным, но и тень креста
способна стать однажды инструментом.
Следы твои они заполнят пеплом,
Влюбленной кровью и покорным жаром
и назовут все это возвращеньем.
Спас на безлюдье, на безрыбье, Спас
на пропастях и свергнутых высотах –
ты не чужой им, даже и таким
ты останешься Спасом на бескровье –
так неподвижен твой уход, и следом
сирены на решетках прокаженных
неслышному подыграют пенью.

7

Кто б мог подумать, что и ночь от солнца
и что она – всего лишь тень земли,
как тень простой какой-нибудь былинки,
которой только сил недостает,
чтоб с неба снять дневное покрывало
и приоткрыть сверкающую бездну.
Но тени нет у одного предмета,
который и предметом-то назвать
едва ли можно: тени у креста,
насколько свет его соправен солнцу

и даже ярче – потому оно
рождает ночь, отбрасывая тень,
как тот фонарь, что погасить забыли
в разгаре дня. А каждое страданье
могло б затмить и миллионы солнц.

ПЛЫЛИ И МЫ В БЕРЕГАХ...

Плыли и мы в берегах, на которых стояли
сами когда-то, теперь вот и нас провожают,
смотрят глазами потока, теряя детали.
Лечит ли время все то, что оно разрушает?
Что вспоминать о воде, протекающей мимо?
Нет у нее берегов для того, кто печален.
Святость и сволочь сгорают, не чувствуя дыма, –
все совершенно на дне драгоценных развалин.
Все совершенно и даже не страшно, как видишь,
гноище ль это, убийство, предательство, свара.
С места не сдвинешь, не вызовешь мук, не обидишь:
то, что прозрачно греху, незаметно для дара.
Но и любили мы так, как будто теряли
из виду то, что любили – молча, неслышно.
Так расстается с листвою в безоружной печали
сад сокровенный, далекий, незримый, всевышний.
Или как зренье теряют меркнувшим телом:
руки подносят к глазам – не ослабла повязка?
Видят как будто не то, да привыкнув за делом.
Точно ли было оно или все это сказка?
Или как в сердце любовь загоняют – не скроешь,
как бередится оно, отзывается рвотой,
хлещет, язвит – и душу вовек не отмоешь
ни пустотой совершенства, ни горькой заботой.
Я не пою, а бреду по дну нестерпимого воя
или по дну листодера к чужому обману.
Больше того, чем я не был и что я такое,
в этом потоке я быть не могу и не стану.
Если уж встретить придется себя – не узнаю:

встреча во времени недалеко от разлуки.
Все-таки видит спиной и уходит по краю
тот, кто тобой не забыт, продолжает толпиться
смертной истомой среди полюсов лихолетья.
Кто ты, увиденный мной? Почему тебе снится
тот же единственный сон о неизвестном свете?
Кто ты, неравный себе? Для какой ты науки?
Глаз не спускаешь с меня, а смотришь спокойно
и оставляешь в залог очищающей муки,
клятве в замену все то, что свершится достойно.
Клятва – ведь это залог и подобна повязке
той слепоты, что иного прозренья не хуже.
Нет берегов для нее – только свет без окраски.
Свет на глазах, но скорей изнутри, чем снаружи.
Выйди еще, погляди хоть такими глазами,
все ли плывут облака, оставаясь в начале,
все ли помнят тебя и глядят небесами
сквозь поток и покой неразменной печали?

СОБАЧИЙ ВАЛЬС

День с потерянной бронью в чужом сентябре
не сильнее листвы и бумаги,
за газетой, парящей среди фонарей,
он увяжется тенью дворняги.

За газетой, порхающей над мостовой,
обливаемой шоком глазурным,
зашевелятся тени собачьей игрой,
обретают ночные фигуры.

Будет улица гаснуть в себе глубоко,
в переулки свивая округу.
Если бремя присутствия здесь нелегко,
не пустить ли нам волю по кругу?

Не пустить ли нам шапку по воле, по той
хлебоносной воде, но возвратной,

отмахавши полмира железной верстой,
расстилая уютжные пятна?

.....

Заскулят тормоза, обмотав колесо
запаленной газетной холстиной,
эти стены, фигуры, и небо, и все
обдавая угарною псиной.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

И при слове клятвы сверкнут под тобой весы
металлическим блеском, и ты – на одной из чаш,
облюбованный насмерть приказом чужой красоты,
вынимающей снизу один за другим этаж.

Как зыскуемый град, возвращенный тебе сполна,
и как слава миров, под тобою разверстых, на
воздусях левитации реет кремнистый пар –
от стерильной пустыни тебе припасенный дар.

Преображенный клятвой и ставший совсем другим –
всем, что клятвой измерил и чем был исконно цел,
наконец ты один, и тебе незаметен грим,
погрузивший тебя в обретенный тобой удел.

Соучастник в своем воровстве и третейский суд,
пересмешник, свидетель, загнавший себя под спуд
предпоследней печати, в секретный ее завод –
под чужое ребро бесконечного сердца ход.

И при слове клятвы ты знаешь, чему в залог
ты себя отдаешь, перед чем ты, как жертва, строг.
От владений твоих остается один замок,
да и тот без ключа. Остальное ушло в песок.

РЕВНОСТЬ

Вдоль коридора, цепляя со стен рукавами
известь сухую невзрачного, блеклого цвета,
шел снегопад – или шел разговор между нами?
Было ли это зимой? И когда? Вообще-то

это не важно, а был разговор в коридоре,
то есть в пространстве, где в сторону шаг невозможен,
там, где находишь себя невтопад, априори
в чем-то виновным, и ты от всего отгорожен.

Не было снега, но там, за обрывками спора,
видится кровь на снегу, а не просто идея, –
словно вот так, незадолго, в конце коридора
были зарезаны детки безумной Медеей.

Нет, коридор ни при чем, это только расплата...
Вот ведь в часах от часов уже что-то двойное
есть – и помимо привычных услуг циферблата
то, что присуще любому предмету: стальное

или песочное их существо табуретки
недолговечней, а время зубов не съедает.
Но остается еще от незанятой клетки
где-то в груди недобор, и тебя не хватает.

Так что понятна минутная слабость на деле
время унять, задержать и тем самым присвоить,
и подменить провиденье собой, и у цели
самой пустячной магнит приручить. Оттого ведь

след опрометчиво может предшествовать шагу
и одержимостью поедом съесть без остатка,
напоминая того беспринципного скрягу,
властью которого нас поднимает над пяткой.

Знал я тогда мужика одного. Между нами,
он-то умел уж присвоить: за собственной тенью

он погружался в себя – и деревья корнями
всеми тянулись к нему, вопреки тяготенью,

и самолеты скользили с путей, и составы,
не упираясь, как будто они одурели,
с рельс, что твои мотыльки на огонь величавый,
не разбирая дороги, как в бездну, летели.

Был ли он хром искони или только обутым
в ту хромоту, но хромал-то он все же изрядно.
Если он чем овладеть не умел почему-то,
мог как ботинок стоптать по привычке парадной.

Исподволь он, вытесняя себя, постепенно
мог оказаться привычным твоим отраженьем.
Не оттого ли во власти его неизменно
Фауст присутствует лучшим ее украшеньем?

Что ему морок устроить, предстать коридором,
чревощательной щелью, подставленной ловко,
стать очевидным, опутать тебя договором,
словно стоустой, услужливой татуировкой?

И заплести что угодно в метельном бутоне,
где лепестки как стоп-кадры, уставшие длиться,
страстью утопий вмерзают в недвижной погоне
за уходящим и тем, что не в силах случиться.

Был бы он чертом каким или чем-то понятным,
вроде простого числителя в дроби житейской,
чтобы узнали его по пробелам и пятнам
и подвели под колпак, наподобие фески.

В том-то и дело, что он зауряден по сути,
равен отсутствию воли, вмещающей силу,
только беды-то, что в каждой прошедшей минуте
он бы хотел обнаружить намек на могилу.

Ревность – его бытие и попытка реванша
или ущербности голод, терзающий люто,
или тоска по тому, что растаяло раньше,
чем завершиться смогло полнотой абсолюта.

Вот где сомнительна жизнь, да и он оставляет
только лишь право служить для нее очертаньем:
светит ли свет не во тьме, или так не бывает,
или присутствует всюду свидетелем тайным?

Застит ли жизнь, затмевает ли чем-то другую
жизнь или только во всем уступает, владея,
или вершит драгоценность утраты и злую
шутку внушает, как нож приbedненной Медее?

Если у дерева тень зацветает, то засохнет
дерево тут же, а тень уподобится язве,
почву бесплодьем отравит и даже не охнет –
сделает смерть откровенной убийцей. И разве

это не миф, загоняющий в страх мифотворца,
разве не чистой идеи прокрустово ложе,
разве не греза в уме пресловутого горца
время отмерить на всех и отдать подороже?

Чтобы такой правоте, надмевающей право
жизни дышать незаметно, а значит, свободно,
стать неизбежно бессрочной, как судная слава,
надо всего лишь казаться простой и удобной.

Есть возведение быта до страсти искомой,
неразличение страха и праведной боли,
недоумение платы, которой знакома
более тайная связь с равновесием доли.

Что справедливость как цель, если цель неотступна,
но не настолько, чтоб выжить в ответном страданье,
чтобы исполниться мстью и стать целокупной
мукой в сквозной слепоте и повытчиком дани?

Но расплетается узел в груди, как Великий шелковый путь, и ведет от порога к порогу, к точке, где сходится в слове ответном безликий шум запустенья и траты, неслышимый Богу.

И разгорится подсолнух на дерновой крыше, и затвердеет гранит под стопой Святогора – будет порукой рука, вознесенная выше, выше самой высоты и предельней простора.

ЛЕНТА МЕБИУСА

Я нужен тебе для того, чтобы ты была мне нужна.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это на слабый стук, переболевший в нем, окна вспыхнули разом предубежденным жаром, и как будто сразу взлетел над крышей дом, деревянную плоть оставляя задаром. Где бы он ни был, тайно светила ему золотая скоба от некрашеной двери, а теперь он ждет, прогибая глазами тьму, посвященный итогу в испуганной вере. Ждет хотя бы ответа в конце пути, позолочен по локоть как будто некстати холодком скобы, зажатым в горсти, на пределе надежды, близкой к утрате. Выйдет мать на крыльцо, и в знакомом «Кто?» отзовется облик в отпете пальто, отмелькавшем еще в довоенных зимах. Грянет эхо обид, неутоленных, мнимых, мутью повинных дней, остепеняясь в ничто.

Может, теперь и впрямь дело совсем табак, блудный сын, говорят, возвращался не так: несказанно, как дождь, необученный плачу,

словно с долгов своих смог получить он сдачу
в виде воскресших дней, – это такой пустяк.
Благословен, чей путь ясен и прост с утра,
кто не теряет затылком своим из виду
цель возвращения и облаков номера
помнит среди примет, знавших его обиду!
Что воскресенье? – это такой зазор,
место, где места нет, что-то из тех укрытий,
что и ножны для рек или стойла для гор,
вырванных навсегда из череды событий.
Знать бы, в каком краю будет поставлен дом
тот же, каким он был при роковом уходе,
можно было б к нему перенести тайком
то, что растратить нельзя в нежити и свободе.

* * *

Е.С.

Если птица – это тень полета,
знаю, отчего твоя рука,
проводящая, отпустить кого-то
не вольна совсем, наверняка.

Есть такая кровь с незрячим взором,
что помимо сердца может жить.
Есть такое время, за которым
никаким часам не уследить.

Мимо царств прошедшие народы
листобоем двинутся в леса,
вдоль перрона, на краю природы,
проплывут, как окна, небеса.

Проплывут замедленные лица,
вскрикнет птица – это лист падет.
Только долго-долго будет длиться
Под твоей рукой его полет.

ГОРА

Гора над моей деревней: возле нее погреться
память не прочь, как будто – это коровий бок.
С вершины этой горы видно другое детство
или, верней, преддетство, замысел между строк.

А это была война. Подколенное мясо ядом
перло, жуя страну, множилось, как число.
Одно из моих имен похоронено под Ленинградом,
чтобы оно во мне выжило и проросло.

Значит, и эта гора, честной землей объята,
уходит в глубины земли, ищет потерянный дом.
и, как битва, сверкает на ней роса под рукою брата,
роса молодой травы, беспечный зеленый гром.

За горизонтом порой исчезает Медведица – это
смещается ось Земли, вопрошает и тварь, и дух:
– Куда провалился злак, путеводный подросток света?
Где неба привычного лик, из каких вырастает прорух?

Где неба привычного лик? Творцы вавилонской башни
искали его вверху, не чаяли, как обрести,
и метили с ним срастись, сравняться плотью всегдашней,
а выпало растеряться, себя и его низвести.

Теперь, пролетая над местом, где когда-то башня стояла,
птица может забыть, зачем и куда летит,
дождь исчезает в себе, и, выросшая как попало
до сотворения мира, не дрогнув, трава стоит.

Есть бремя связующих стен, и щит на воротах Царьграда,
прообраз окна Петрова, сияет со всех сторон.
Но след вавилонской башни зияет беспомощностью ада
и бродит, враждой и сварой пятная пути времен.

Тот, кто построил «ты» и стал для него подножием,
видит небесный лик сквозь толщу стен и времен.
Брат идет по горам, становясь на тебя похожим,
все более и больней, чем ближе подходит он.

* * *

Памяти сестры

Область неразменного владенья:
облаков пернатая вода.
В тридевятиом растворясь колене,
там сестра все так же молода.

Обрученная с невинным роком,
не по мужу верная жена,
всю любовь, отмеренную сроком,
отдала вечности она.

Как была учительницей в школе,
так с тех пор мелок в ее руке
троеперстием горит на воле,
что-то пишет на пустой доске.

То ли буквы непонятны, то ли
нестерпим для глаза их размах:
остается красный ветер в поле,
имя розы на его губах.

И в разломе символа-святыни
узнается зубчатый лесок:
то ли мел крошится, то ли иней,
то ли звезды падают в песок.

Ты из тех пока что незнакомок,
для которых я неразличим.
У меня в руке другой обломок –
мы при встрече их соединим.

ДВЕРИ НАСТЕЖЬ...

Лунный серп, затонувший в Море дождей,
задевает углами погибших людей,
безымянных, невозвращенных.
То, что их позабыли, не знают они.
По затерянным селам блуждают огни
и ночами шуршат в телефонах.

Двери настезь, а надо бы их запереть,
да не знают, что некому здесь присмотреть
за покинутой ими вселенной.
И дорога, которой их увели,
так с тех пор и висит, не касаясь земли, –
только лунная пыль по колено.

Между ними и нами не ревность, а ров,
не порывистой немощи смутный покров,
а снотворная скорость забвенья.
Но душа из безвестности вновь говорит,
ореол превращается в серп и горит,
и шатается плач воскресенья.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Стоит шагнуть – попадешь на вершину иглы,
впившейся в карту неведомой местности, где
вместо укола – родник, вырываясь из мглы,
жгучий кустарник к своей подгоняет воде.
Дальше, вокруг родника, деревень алтари,
чад бытия и пшеничного зноя дымы.
Там начинается воля избытком зари,
там обрывается карта в преддверии тьмы.
Все это можно любить, не боясь потерять,
не потому ли, что картой поверить нельзя
эту безмерную, эту незримую пядь,
что воскресает, привычному сердцу грозя.
Здесь, что ни пядь под стопой, то вершина и та

обетованная ширь, от которой и свету темно:
никнет гора или рушится в ней высота,
или укол простирает на карте пятно.
Это – твое восхождение, в котором возник
облик горы, превозмогшей себя навсегда.
Стало быть, есть воскресенье, и ты – проводник
гнева и силы, не ищущей цели стыда.
Это Георгий своим отворяет копьем
пленный источник, питающий падшую плоть.
Отблеском битвы, как соль, проступает на нем
то, что тебя ни на миг не смогло побороть.
Стало быть, есть красота, пред которой в долгу
только она лишь сама как прибежище чар.
Всадник, заветную цель отдающий врагу,
непобедим, ибо призван растрачивать дар.
Здесь и теперь в этом времени вечности нет,
если, сражаясь, себя разрушает оно,
если уходит в песок, не стесняясь примет,
чуждое всем и для всех безупречное равно.
Не потому ли нацеленный в сердце укол
всей родословной своей воскресает в тебе,
взвесью цветов заливая пустующий дол,
вестью племен отзываясь в пропащей судьбе.
Это нельзя уберечь и нельзя утаить,
не промотав немоту на избыток вестей.
Значит, шагнуть – это свежий родник отворить,
значит, пойти – это стать мироколицей всей.

* * *

В пустоту наугад, обоюдоогромный
вникнет луч напрямик и повиснет, застыв,
и разломится вдруг, и из бездны разлома
брызнет озера сильный и слитный порыв.

И, рядясь в берега, это озеро станет
прозревать от равнин и провидеть от гор,
и зверино и рыбно задышит, и втянет
в тяготенье свое беспредметный простор.

И тогда ты припомнишь, что миру начала
нет во времени, если не в сердце оно,
нет умерших и падших, кого б ни скрывало
от морей и от бездн отрешенное дно.

Никого на дороге: ни мира, ни Бога –
только луч, и судьба преломиться ему,
и движеньем своим образует дорога
и пространство, и миг, уходящий во тьму.

Что там видится, что остается вначале,
что уходит сквозь пальцы по пыльным шоссе?
Это вестник без вести, пропавший в печали,
за рассказом растаявший в светлой росе.

ПИСЬМО

Так молния ночная ловит свет,
стоящий на другом конце земли,
передвигая зеркальце свое.



ПОВТОРЕНИЕ ИЛИ ВОСКРЕСЕНИЕ

Преодоление пространства предполагает выброс времени, но время не сохранишь, сидя на стуле.

Если дорога домой – средство от ностальгии, то почему-то оно не помогает дома: даже дома ты – вне его, как будто его перенесло в другие миры.

Может быть, эти «другие» где-нибудь там, где глазам суждено перепутать ложное небо с собственным домом на седьмой, на лесистой версте?

Глазам суждено, но не душе.

– Ложное небо, – скажет она, – ложное дно: якорю не вцепиться в то, что дном назовет эхолот.

Дорога домой продолжается дома, если ты в точности дома, потому что его несет по течению вспять – туда, где вы попросту разминулись.

И если твой дом – это тот, с кем ты разломил памятную табличку при расставании, то он не спешит разжать свою руку, чтобы показать оставшийся у него обломок.

Вот он, чертеж на обломке, который привел тебя к этому месту. Где же другой обломок? Нет его ни в колодце, ни под порогом, ни за воротами. А если он и найдется, то вряд ли удастся его совместить, соединить с твоим – так время их пообкатало.

Чертеж, или план, или карта этого места возможны только во времени, и остается только надеяться на воскресение. Но будут ли жить они там – эти пространства или, с точки зрения тех, которые будут, они – уже мнимые?

И в чем смысл воскресения? Или, по крайней мере, что ожидается от него, если оно, допустим, возможно? Победа над временем? Но вот когда видишь какой-то пейзаж, место, дом, в котором, кажется, ничего не изменилось, – вдруг происходит наложение того, что в памяти, с тем, что наяву, и время вытесняется, тогда в тебе что-то высвечивается как единый облик.

Не колеблясь, человек расстается с тем, что в нем не нуждается в повторении. Смерть ему нипочем, если она обещает ему преодоление времени. Потому что пространственные совпадения того, что в памяти, с тем, что наяву, вызывают смешанное чувство встречи и утраты, а он ведь рассчитывает только на встречу.

Итак, повторение или воскресение? Повторение и предполагает соединение двух обломков разломленной таблички. Воскресение в этом не нуждается. Для него табличка всегда остается цельной. Потому что расстояния между обломками не существует.

Повторение, как и воскресение, преодолевает время. Но цель повторения – восстановление утраченного времени, воскресение же всегда владеет нерастрачиваемым временем. Потому что повторение – это ревность, а воскресение – любовь.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЛИ ВОСКРЕШЕНИЕ

воскрешение – припоминание самого себя, приходящего в сознание тела. Реанимация, выражаясь медицински, путь к жизни из небытия, агония наоборот, взаимное тяготение разорванных кусков плоти, пытающихся стать телом.

воскресение – возвращение посланника к тому, кто его послал, и оно не может произойти никаким иным путем, как через смерть; здесь путь из бытия через небытие в сверхбытие, в вечность.

Воскрешение – это повторение прежнего

Воскресение – это обретение другого

воскрешение может происходить во времени, которое дано нам для ежедневного отсчета (счета здесь и теперь)

воскресение – происходит всегда и во времени не нуждается, хотя воскресение не враг времени, у него вообще нет врагов, ибо оно есть любовь, оно есть Бог.

ревность – повторение

любовь – воскресение

любовь – наполненность и стремление к полноте.

ревность – стремление восполнить утраченную цельность.

Увидеть себя со стороны – такое может только Бог. Нет, не то. Возможно ли увидеть себя со стороны подобно кому-либо другому? Но кто он – другой? Ни другой человек, ни еще какая-то тварь тебя не видит – ты вне, ты ушел, тебя нет, там пусто. Бог? Но видеть себя таким взглядом – все равно, что видеть Его. Невозможно. Смерть. Ты – мертвая статуя самого себя. Слепая, как и всякий истукан. Матрица без материала, на котором она могла бы что-то тиражировать.

Увидеть себя со стороны – значит умереть. Не потому ли, что во взгляде таком – крайняя степень отстраненности от самого себя? Перемещение своего «я» как можно дальше от самого себя. Это – как если, после того как тебя однажды укусила собака, ты всякий страх (испуг) будешь связывать со злой собакой. Всюду она может вмешаться: идет ли речь о простом опозда-

нии на поезд или о потере близкого человека. Увидеть себя со стороны можно и в зеркале. Но там – призрачный твой двойник. Даже если ты поменяешься местами со своим отражением – это будет всего лишь подмена одного другим потому, что в зеркале ты видишь себя в прошлом, во времени. А увидеть себя во времени ушедшем, покинутым тобой, – это и значит умереть здесь. Ведь время необратимо. И какая сила может заставить тебя пытаться преодолеть эту необратимость? И что, если эта сила и есть совесть? И не она ли тянет убийцу к месту преступления? Выходит, что и в совести время и вечность касаются друг друга. И если все же взгляд на себя происходит не во времени, а в мгновении, это значит, он – из вечности, из мгновения, неспособного к воскресению.

В этой встрече во времени, то есть во встрече с самим собой участвуют «я» переживаемое и «я» осознаваемое. Это то же, что увидеть себя со стороны, но... Для «я» переживаемого нет ни прошлого, ни будущего, а для «я» осознаваемого они существуют, но как объекты (впрочем, и настоящее время тоже). Аврелий, Шопенгауэр, когда говорят об отсутствии прошлого и будущего и о присутствии только настоящего, это «я» и имеют в виду. Нельзя одновременно рубить дрова и наблюдать за этим, это может плохо кончиться. Это опасно еще и тем, что может привести к раздвоенности, и тем, что эта раздвоенность может стать чем-то повседневным. Увидеть себя со стороны – перекрестить себя левой рукой, как будто чужого человека перекрестить.

Так личностное в Боге удаляется от человека при сохранении им лица. И наоборот: он приближается, а лицо его утрачивает определенность, ясность черт по мере возрастания самостоятельности человека. По мере того как человек, осваивая мир, все более полагается на свое понимание – мир становится все менее похожим на него, то есть теряется его антропоморфность. Бог обликом своим становится все менее похожим на него, как бы удаляется от него, и он порой сам себя перестает различать.

Смерть – как слуга, которого ты волен позвать когда угодно. Что-то вроде собаки, которая никогда не предаст тебя, – бескорыстная и неизменная любовь. Цветок – его ведь поливать нужно, а с этой нечего и церемониться. Это вроде персонажа – да, скорее, это похоже на собаку. Если есть собачья жизнь... Однако смерть может быть арестована, то есть отлучена от тебя, разлучена с тобой, вдобавок она может стать не твоим слугой. Оказывается, она тоже может быть свободной или несвободной. А через ее несвободу – несвободен и ты.

Бестиарий – персонажи видений св. Антония. Бестия – зверь (лат.), зверь-оборотень, зверь нехороший. А вот у Ноя все звери хорошие, правильные, нужные.

Ковчег – как чудо опрокинутой горы, созданной по образу мира – сверху вниз, от вечных льдов, с высот Гипербореи, от единственно возможной точки на небесном куполе, которая всегда именно над тобой. И ведь каждому дано это чувство, что вершина этого купола именно над ним. Это похоже на чудо пространственного размещения: шагни в сторону – эта вершина всегда окажется над тобой. И не в том ли состоит парадокс тяготения?

Мир создан извне – сверху вниз, то есть снаружи вглубь. Нам же его смысл предстает из глубины и более естествен его рост из глубины, то есть в обратном порядке. Отсюда и вопрос, никогда не находящий ответа: что было до начала, когда не было никакого начала? По законам исторической грамматики, слова «начало» и «конец» восходят к одному историческому корню. Этот пример говорит о том, что древние не сводили мироустройству к линейному процессу. Теперь же всякое творчество (создавание) видится вытянутым в некую дорогу, у которой должны быть конец и начало. А все дело только в точке зрения творца или свидетеля созидания, и не столько в ней самой, сколько в обусловленности ее, то есть в такой ситуации, когда возможно свою точку зрения как созерцателя уравнивать или даже поставить выше точки зрения творца, объявив тем самым свою точкой зрения его, а его точку зрения – сомнительной. Это ведет к отрицанию Бога.

Стать другим – это против того, чтобы отождествиться с чем-либо? Стать другим – разъединить конец и начало.

Бессонница – разлучница, а разлучница-то ни с чем.

Тот, кто не говорит, прав, но по-особенному банален.

Где ты, замерзшая в клюве голубки земля? Увидел ли кто-нибудь в воздухе ребра ковчега? Сооружается ли он где-нибудь? Опять ребро. И кто на сей раз будет вынут из него?

Вепрь на воле получит свинарник, конь – конюшню, козерог – овчарню, а человек – проблему. А медведицы честь – в скomorошьем колесе. Вот оно приручение взамен абсолюта, а путь-то совместный.

Надо бы представить строительство ковчега как смену сезонов: переходим от сезона к сезону, как с этажа на этаж, – только менять этажи, как в вавилонской башне, путать их не можем. Год-ковчег – понятие временное, а вавилонская башня строилась из обретения вечности: отсюда изобретение, что ли? Вавилонская башня – прообраз рукотворной горы. И как башня ищет рукотворного бога, так гора имеет Нерукотворного. Ковчег же строят и строят, но он нерукотворен, не руками строится. Гора – наглядная носительница сезонов. Если полюс – вершина земли, то земля – сама гора.

Раньше человек не имел ни календарей, ни часов, письменности тоже не имел. А за временем, историей следить мог. «А, – говорил он, – это было, когда у Петра займка сгорела, или Семенова кобыла принесла двойню». Теперь у каждого для отсчета его жизни есть своя биография, послужной список, но личной истории в этом нет, а тем более общей. Не общей истории в научном смысле, а общей истории его с кем-либо, хотя бы с одним человеком. Общая история даже с твоим врагом делает тебя и его более близкими людьми, чем с незнакомым и не ведающим о тебе доброжелателем.

Переименование городов? Бывают вещи куда более радикальные по отношению к кускам твоей биографии. Смерть родителей. Смерть братьев, сестер. Близкие, родители прежде всего – это свидетели твоей личной истории. То есть если ты что-то забываешь, а кто-нибудь из них вспоминает, – вспоминаешь и ты. Значит, твоя память помещена в такое место, где есть акустика. А когда в этом месте исчезает стена или комната, получается голое пространство, и отзвука уже нет. И ты силишься что-то вспомнить – и не можешь. Вдобавок человеку, особенно в России, свойственно отсекал от себя неприятные эпизоды прошлого. Ставишь плотину, избавляешься от того или иного фрагмента памяти, а вместе с ним отсекаешь и часть жизни. Пройдет какое-то время, ты поднимешься в восходящем потоке и окажешься выше кромки плотины. Но это со временем. А до того в тени плотины очень многое отмирает – в том числе и факты, которые были не так уж плохи. Кусок твоей жизни превращается в мертвую зону. Но это более-менее компенсируется, если есть близкие люди, что переживали тот случай вместе с тобой, но в самих себе плотинной его не отрезали. А когда и близ-

ких нет, прошлое начинает бесповоротно мертветь... Человеку, не знаю почему, важна непрерывность. Часто преступник не способен справиться с последствиями своего преступления, идет с повинной или кончает самоубийством. Это из-за того, что он не может поставить плотину. Она для него чрезмерно велика, высока. Пришлось бы начинать всю жизнь заново.

...После долгих лет одиночества человек видит в толпе знакомое лицо и бросается к нему, а это когда-то был его враг, даже смертельный, один из них должен был быть убит. Но он тянется к нему, как к кому-то родному. Почему? А ничего особенного: у них когда-то и где-то была общая история, а здесь у него этого нет. Он рвется из одиночества, пока не потерял надежды обрести ее хотя бы с кем-нибудь; он – человек, потому что ему нельзя, невозможно жить без своего прошлого, которое существенно, когда оно – еще чье-то прошлое.





вечность – миг, неспособный воскреснуть давно

1993

* * *

Тихий ангел – палец к губам – оборвет разговор,
и внезапной свободой
мы повиты, как руки немых, завершающих спор
точкой схода.

И кому не хотелось хотя бы на время такой
стать неслышимой речью,
пролетающей паузой между словами с тоской
по молве человеческой.

Но страна, как и речь, то по черному ходу идет,
то уходит из дома.
Одеяние с ангела, пляясь изнанкой, спадет,
словно молния с грома.

Там грохочет музыка на стыках раздолбанных нот
нулевым пересчетом.
Там для суммы важнее не то, что считают, а тот,
кто поставлен над счетом.

Прозревай в слепоту и с нечетной ноги воскресай,
догоняя безногих
по дороге хромой в заповеданный рай,
ставший адом для многих.

Молча яблоко рта разломи молодым
языком пустоцвета.
Ветер ширму повалит с пейзажем ночным,
но не будет рассвета.

Вечность – миг, неспособный воскреснуть давно,
и от ангельских крылий,
как в минуту молчанья, на сердце темно.
Так мы жили.

АРЕСТОВАННЫЙ МИР

Я блуждал по запретным, опальным руинам,
где грохочет вразнос мемуарный подвал
и, кружа по железным подспудным вощинам,
пятый угол своим арестантам искал.
Арестанты мои – запрещенные страхи,
неиспытанной совести воры,
искуплений отсроченных сводни и свахи,
одиночества ширмы и шоры.
Арестанты-уродцы, причуды забвенья
и мутанты испуганной зги,
говорящей вины подставные мишени
и лишённые тыла враги.

И заблудшим убийствам даруя просторы,
неприкаянным войнам давая надел,
я, гонитель-чужак, на расправу нескорый,
отпустить их на волю свою не сумел.
Я их всех узаконил музейным помещьем,
в каталог арестантов отправил,
но для них я и сам нахожусь под арестом,
осужденный без чести и правил.
Ничему в арестованном небе предела
не дано никогда обрести.
И какое там множество бед пролетело,
не узнают по срезу кости.

Но растянутый в вечности взрыв воскрешенья
водружает на плаху убийственный трон.
Проводник не дает избежать продолженья
бесконечной истории после времен.
Западней и ловушек лихие подвохи
или минных полей очертанья –
это комья и гроздь разбитой эпохи,
заскорузлая кровь мирозданья.
Если б новь зародилась, и было б довольно
отереть от забвенья чело...
Но тогда почему воскрешение – больно,
почему воскресенье – светло?

* * *

Я не лунатик, я ногами сплю.
Вокруг меня помпезные колонны –
я их корней не чувствую, они –
застывшие глотки незримых горл.
Что недопито или что еще
им выпить предстоит, какой отравы?
Учитывая почвы этих мест,
они должны быть красными, как кровь.
Но нет, в подтеках, серые, на них
надеван камень, но не лунной пробы,
а той, что близок звук какой-то – «у».
Вот доигрался, вот уже собаки
хватают сумрак заполошным лаем,
как одеяло, под которым чуют
клубящийся волчатник или след.
След? Но кому он нужен, этот след?
Пусть кто-нибудь другой его доносит.
А я стою. Вокруг меня колонны –
Бирнамский лес, застывший на ходу.

* * *

Как душу внешнюю, мы носим куб в себе –
не дом и не тюрьма, но на него похожи,
как хилый вертоград в нехитрой похвальбе
ахилловой пятой или щитом его же.

Как ни развертывай, не вызволишь креста,
выходит лишь квадрат, незримый или черный.
Как оборотня шум, его молва чиста
и хлещет из ушей божбой неречетворной.

И Белой Индии заиндевелый сон
глядится в гололёд серебряной ладошкой,
где сходится звезда со взглядом в унисон
то лазерным лучем, то марсовой дорожкой.

Допустим, это ад, где каждому свое:
ни темени, ни тьмы, но остается с теми,
кто черный куб влачит, как совесть и жилье,
горами черепов изложенная тема.

* * *

Этот город – просто неудачный
фоторобот града на верхах.
Он предъявлен цифрой семизначной
как права на неразъемный страх.

Фоторобот золотой эпохи
застеклен и помещен туда,
где ему соседствуют пройдохи
и иные, впрочем, господа.

Как лунатик, множимый ногами,
пропуская в бездну этажи,
город-призрак заблудился в раме.
Ложный страх сильнее страха лжи.

Бродит он по улицам старинным,
сам себя нигде не находя,
где домам, прохожим и машинам
легче быть пустотами дождя.

Но составлен фоторобот страха,
и морозом дорисован лес –
рыбья нога или ночь-рубаха
в нем живут, не ведая чудес.

На этой воле, где два простора
так тяготеют враждой друг к другу,
что незаметно их двоемирье, –
там сварой мертвых объята свора,
пьют безучастных богов по кругу,
и нет незванных на этом пире.

Спроси у Господа, где твой Каин,
где брат по спорищу и по смуте,
брат по вражде или враг по крови?
Пока он брошен и неприкаян,
он – твой двойник по несчастной сути,
он – тот же ты, но в запретном слове.

Верблюда помнят, а разве Царство
в ушке игольном застрять не может,
когда б решилось пойти навстречу?
Запретный плод облечен в лекарство
от тех сомнений, что жизнь итожит,
но где он спрятан, я не отвечу.

А там, где ревности нет в помине,
где все друг друга давно простили,
где нет ни правых, ни виноватых,
благословенье твоей пустыни
к тебе придет без твоих усилий,
не осуждая тебя в утратах.

На цветочных часах паучка притаился отвес.
Время – день или недень – Купале как будто бы впору.
Отмотай от рулона кладбищенской глины отрез –
там копающий яму надеется выкопать гору.

Весь рассвет на кону – только пасмурным солнцем заспать
обещает молва неотпетые временем тыщи.

Глина глину пожрет, домовью или нави под стать.
Зарастет, но не нами, а сорной травой пепелище.

И не воду бы надо спускать с поводка, а вино,
претворяя обратно в ту воду, что смерть отмывает.
Но былье на сносях с поколеньем твоим заодно –
дно выходит из вод, но и берегом стать не желает.

Зарастет пепелище, и жертвой очнется земля,
сокрушенно позволив забыть о себе для другого,
надеяя собой, никого на себя не деля,
отпуская и длясь, чтобы видеться снова и снова.

* * *

Весною сад повиснет на ветвях,
нарядным прахом приходя в сознание.
Уже вверху плывут воспоминанья
пустых небес о белых облаках.

Тебя он близко поднесет к лицу,
как зеркальце, но полуотрешенно,
слабеющей пружиной патефона
докручивая музыку к концу.

Потом рукой, слепящей, как просвет,
как уголок горящего задверья,
он снимет с лет запретных суеверье.
Быть иль не быть – уже вопроса нет.

Но то, что можно страхом победить,
заключенный мир в снотворной круговерти
тебе вернет из повседневной смерти,
которую ты должен доносить.

* * *

Пойдем туда дорогой колеистой,
где в шкуре плеса тополь серебристый –
алмаз, не уступающий черте.
Там речка спит на согнутом локте.

Ей сон такой неудержимый снится
из наших отражений, а над ним
там сельский быт в тесовых рукавицах
не застит дня видением пустым.

Солома остановленного тленья,
стога забальзамированных сил –
как будто нами первый день творенья
до нашего рожденья предан был.

Пошли налево через запятую
флаконы с усыпленным бытием,
бесцветные, с уклоном в золотую,
кровистым подслащенные огнем.

Уже не сон, а ветер многорукий
над мертвым лесом, бледен и суров,
верхом на шатком метрономном стуке
проносится смычками топоров.

И лес хрипит, всей падалью растений
мучительно пытаюсь шелестеть.
Но не растут на тех деревьях тени,
и нечем им ответить и посметь.

Лесного эха стыд деревенеет,
оно посмертной воле не к лицу.
Дорога под ногами цепенеет.
Идет тысячелетие к концу.

Кости мои оживут во время пожара,
я раздую угли в своих ладонях.
Но и в таком костре мне мой двойник не пара –
бездны играют в прятки в оцепенелых доньях.
Произнесите вслух: нет ни кулис, ни падуг,
и соберите в персть горсти и троеперстья –
вас разоденут в стыд девять покорных радуг,
небо кремнистой кожей, огонь безъязыкой вестью.
Дым от такой страды смертным глаза не выест,
олово, а не спирт будет тащить на крышу.
может, тогда и впрямь время меня не выдаст –
пенье Твоих костей, Господи, я услышу.



Человек-арестант или вещь-арестант – это то, что существует, но чем нельзя пользоваться. Так и в памяти существуют вещи, которыми также нельзя пользоваться, но это не беспмятство, не утраченное воспоминание, а такое воспоминание, на которое наложен запрет самим носителем памяти добровольно или в силу каких-либо обстоятельств.

Похоже на то, что возможен коллективный запрет на коллективную память, то есть запрет на объективную историю. Такой запрет – это арест наоборот: не арестант в тюрьме, а весь мир в тюрьме для него. Вот музей: по своему предназначению это нечто совсем противоположное аресту. Там вещи, как на сцене, бесконечно проигрывают давно отыгранную драму. Но то, о чем мы ведем речь, предполагает существование именно другого музея, музея арестованных предметов. Тем более, если ты не отождествлен с музейной вещью, зачем она? Например, полет стрекозы – вещь, невозможная в обычном музее. Или это музей для одного человека? Или вообще – музей-ни-для-кого? Как картина ни для кого, или экран, или сцена. Может быть, суть одиночества в этом? И невозможность общей, то есть совместной с кем-либо истории. И тогда за вычетом этой общей истории возможен твой индивидуальный музей, возможен музейный каталог твоих личных арестантов: предметы, лишенные сути (цветы без запаха, груды соли без вкуса), но все еще имеющие вещественные признаки. Так, пузырьки, флакончики для одеколонов, духов и прочее – арест ли это запахов? Или это забальзамированный запах? Жизнь цветка, продленная в нем? Вот то-то и оно, что нет. А фотографии?

А кинокадры? Их можно кроить, как вздумается. Ты приказываешь своей памяти выбросить из себя какой-либо фрагмент твоей жизни, в котором произошло что-то, смущающее твою совесть, и тогда как будто исчезает пространство, в которое был помещен данный фрагмент. Но невозможно памяти приказать – она живая, она существует помимо тебя, и иногда против своей воли ты можешь оказаться в этом запретном пространстве. Ничего подобного чему-то умерщвленному, застылому, неподвижному ты там не увидишь. Там минные поля, которые нужно обойти: все эти неприятные для тебя эпизоды твоей жизни. Этот мир – груды, из которой нельзя вынуть только один предмет: тянется вся куча разом. Всюду ловушки: под бесцветным пустым видом, как заснеженные поляны. Идешь – и вдруг попадаешься. Ловушки – предметы опасные, и не то чтобы незримые, а неясные: берешь его в руку, а он на глазах превращается в нечто. Так шипит гильза, упавшая в снег. Иные предметы бесплотны до сверхтяжести, и их невозможно поднять. А если это удается, то вдруг сотрясается и оживает вся округа, из которой хлещет боль. Почему эти предметы опасны? Потому ли,

что при прикосновении к ним мир может восстановиться? И чем это грозит? Смертью, хотя и с последующим воскресением. Стало быть, история и совесть – это одно. И твоя память – не твоя собственность, она всегда возвращается к тому, кому она принадлежит изначально.

Рай – сад, увиденный внутренним взором; такой рай – пустыня для обычного взгляда. И наоборот: то, что кажется раем обычному взгляду, то пустыня для зренья души.

Что такое «я» и где оно находится, если тебе даже от собственного сознания можно абстрагироваться? И как оно соотносится с пространством моего тела и его же временем? Это как будто совсем не то же самое, что душа, поскольку она – бессмертна. Моего «я» до меня, до моего рождения, точно не было, после меня от него останется столько (и настолько), сколько хватит у него общей истории хотя бы с кем-либо, если не только с тем, с кем имеет мою со-весть. Когда я говорю «У меня болит нога» или «Моя нога болит», я говорю как будто о чем-то постороннем (то есть о том, что находится где-то вне меня) и со стороны причиняющем мне беспокойство. Я не могу почему-то сказать так: «Сегодня я болею в своей ноге». Даже когда я говорю «У меня болит душа», значит, я говорю о своей душе как о чем-то таком, что пространственно удалено от меня, объективировано, то есть выступает в роли объекта. Но когда я и о своем «я» говорю (рассказываю о нем кому-либо или размышляю о нем сам с собой), то говорю как о чем-то стороннем, выведенном в пространство – как будто между мной и моим «я» прорастает расстояние. Все это наводит на подозрение, что «я» переживаемое – вовсе не то же самое, что я «я» осознаваемое. И это похоже на проблему настоящего времени.

Настоящее время мгновенно? Если это так, то какова длительность этого мгновения? Или длительность вообще сводима к нулю, то есть к полному своему отсутствию. О нуле – потом, а пока вот Кьеркегор: «Мгновение – это та двузначность, в которой время и вечность касаются друг друга». Это как в случае с оборотничеством: с точки зрения метаморфозы, допустим, в лес входит человек, а выходит медведь, и хотя на самом деле из леса вышел медведь сам по себе, а человек так и остался в лесу, очевидцу может показаться, что человек обернулся медведем. Отсутствие не сводимо к ничто, присутствие не возводимо к абсолюту. «Ничто» не занимает никакого про-

транства. Вдобавок, если «ничто» неподвижно, оно и не предполагает никакого пространства. Так как «ничто» – не точка, стало быть, точка – это неизвестное, принимаемое за нечто. Но условия существования точки – в ее неподвижности, потому что как только она двинется, она станет линией, а это уже другая мерность. Движение линии не вдоль себя порождает плоскость. Движение плоскости – объем. Движение объема – если не другой объем, то нечто неумопостигаемое – то, что не занимает пространства в нашем обычном представлении, то есть ничто. Но возможно ведь и обратное, попятное движение мерности – упрощение – от куба к плоскости, от плоскости к линии, от линии к точке, к тому, что не имеет измерений. Если нуль – нечто нам неизвестное, то единица представляет собой что-то еще, кроме нуля. Но больше нуля может быть все что угодно, бесконечное множество чисел. Как в этой бесконечности найти конкретную единицу, а тем более какие-либо сложные числа? В этом парадоксе – противоречие между переживанием настоящего времени и его осознанием. Но противоречие снимается при четком представлении о том, что природа не уместается в рамках сочувствия к нам. Вот, например, природа света – это одновременно и волна и частица. Мы видим корабль или море по отдельности, а с точки зрения природы света это морекорабль. Мы видит туман и видим коня в этом тумане – по отдельности то и другое, хотя и одновременно. Но с точки зрения природы света эта одновременность порождает другой образ, а именно: конетуман.

Математик Гёдель доказывает: «Полное описание языка «А» нельзя осуществить на том же языке «А», то есть для порождения всех истинных высказываний о целых числах нужно бесконечно много новых идей». Однако, к примеру, если полено – единица, то два полена соответственно двойка, и так далее, до поленицы, которая могла бы стать бесконечной, да ограниченность кубатуры не позволяет. И нет между поленьями никакого бесконечного числа поленьев. И что, сгоревшее полено тогда и есть нуль, что ли? А восстановить сгоревшее полено – это что, как нуль возвести к единице?

Настоящее время начинает казаться фикцией, как только попытаешься его осознать, схватить его, может быть, даже продлить. Не потому ли и Фауст заклинает Дьявола остановить мгновение, что не хочет больше никакого прошлого, да и будущего тоже. Они для него – всего лишь нежеланные объекты. Но миг, способный к длительности – уже вечность, а вечность в качестве остановленного прекрасного мгновения еще нужно заслужить. И не этические чаянием, а верой, верностью. Кьеркегор: «Если этическое есть высшее, то Авраам погиб». Этот тот случай, когда твое «я» сосредоточено в Боге так, что «я» растворяется, не лишаясь личностного начала. «Я» переживаемое теперь не может быть объектом для тебя, и твое настоящее

время способно к чистой длительности – вечность и время касаются друг друга в мгновении. Как-то Марк Аврелий съязвил, что каждый стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет. То есть не всякое мгновение, прекрасное для кого-либо, непременно окажется прекрасной вечностью. Тут-то в свои права и вступает ревность. Кортасар, имея в виду Фаустову ситуацию, считал: «Убить объект любви, древнее искушение мужчины, было платой за то, чтобы не задерживаться на остановке, а значит, мольба, обращенная Фаустом к уходящему мгновению, не имела никакого смысла, если только само мгновение не застрянет, как застревают и застаиваются на столе пустой стакан». То есть это типичный случай ревности: ведь ревность – это стремление восполнить утраченную цельность. И при чем здесь древнее искушение мужчины, когда и Медея (женщина все-таки) убийствами и самоубийством, как может, так и восстанавливает утраченную цельность. Смерть – пресечение всякого изменения, развития, уничтожение самой возможности прошлого как объекта, как смысла времени. Но отсутствие времени не означает автоматического наличия вечности. По Гераклиту, река одновременно равна и не равна себе. А посему дважды в нее не войдешь.

Чем меньше плоти, тем больше души – звучит, может быть, неловко, но зато точно. О Боге человек обязательно вспоминает, даже если никогда о нем и не думал, в беде ли, в опасности или в смертельной болезни, то есть в тех обстоятельствах, когда ему грозит уничтожение или хотя бы ущербность. Тут он вспоминает о нем, как об отце, знающем, как можно спастись и что нужно делать для этого. А так он волен пребывать в своем ежедневном сиротстве.

Поэтому право на лишение тебя твоей воли имеет только тот, с кем у тебя со-весть, совместное ведение, знание, тайна. Совесть, стыд – это гнев, направленный внутрь себя, но душа – «не этих мест жилица» – единственно бессмертное, что есть в человеке. Она – остров бессмертия, оцениваемый смертным телом, она – образ незримый, выраженный условно в зримом теле. Она соотносится с телом, как образ с красками в картине или как часы и время, или как звезды и твердь небесная. Значит, если гнев направлен против нее, он навязывает разлуку твою с ней. Значит, стыд – это гнев твоего бессмертного, направленный против тебя с тем, чтобы твой образ привести в соответствие с ней. Стыд – это гнев души, и значит, когда стыд направлен против тебя помимо ее воли, это вовсе не стыд, а всего-навсего грех перестановки души и тела, а менять местами душу и тело – своеволие оборотничества:

бунт красок против образа;
бунт часов против времени;
бунт звезд против небесной тверди.

Канва: то, что сейчас – рисунок на канве, становится канвой, etc... Это – как чтение слова внутрь, в глубину.

Арабы, завоевав Египет, ободрали пирамиды, использовали их обшивку на постройку своих дворцов; турки, покорив Грецию, сделали из афинского Акрополя каменоломню; испанцы, завоевав Америку, поступили аналогично (чего добру зря валяться). Уж не говоря о большевиках и фашистах – те и живых людей тесали по образу и подобию своих идеалов. Чему же удивляться: весь постмодернизм состоит из этого, то есть из обломков еще живых (а может, никогда и не умирающих) культур. Кого это напоминает? Да Герострата. Сколько их было таких, и кто их помнит (ведь то, к чему они стремились, им оказалось недоступным). Где дворцы этих арабов, турок или испанцев? Как и постройки постмодернистов, разваливающиеся на глазах. Потому что настоящее искусство создается не из камней, слов и звуков...

Да уж: сколько раз твердили миру...

Лаконичность вызывает к большой ответственности. Гераклит фрагментарен. С одной стороны вышло так нечаянно (ибо пропало), а с другой – в этом есть резерв выразительности. Осколок чего? Фрагмент чего? Цельность утрачена навсегда – или она восстановима?..

Почему в некоторые эпохи (наиболее уравновешенные) вместо величия простоты в искусстве возникает убожество умеренности? Обломок такой эпохи не отсылает к целому, ибо целое у нее (или в ее интерпретации) прихотливо и неочевидно.

В эпохи такой рассогласованности попытка таким образом построить гармонию заканчивается или вообще полным провалом, либо присваивает иронический смысл, что само по себе является сомнением в смысле. Происходит разыгрывание гармонии как формы, которая должна быть чем-то заполнена.

Каким образом можно все-таки восстановить гармонию?

Чтобы то, что образует форму – некая парча – могло быть выброшено на нечто (вечность, дух?) и тем самым смогло быть явленным как красота, как мир – нужно, чтобы это нечто существовало.

Это – наша цельность, условие гармонии против нашей разорванности и т.п. Поэтому искусство, творящее образ парчи, либо проигрывает, либо впадает в иронию. И нужно в обретении гармонии ее прообраза, идеала идти от преодоления этой парчи. В наше время она – гноище, язвиге... Значит, остается прорвать ее, и если за ней бездна – пройти бездну, иного не остается.. Если же не рвать ее, то неизбежно умный скатится в иронию (глупый будет чирикать, как ни в чем не бывало).

В книге о мусульманском возрождении утверждается, что изощренность поэзии арабов, не что иное, как остроумие. А между тем остроумие – наипервейший признак лжепоэзии. Ведь остроумие никогда не стремится к истине. Оно старается только как-нибудь половчее выразиться. Впрочем, может быть, так оно и было у арабов. Но как все-таки благотворно они повлияли на маньеристов, на барокко. Или у этих последних тоже все свелось к остроумию? А не так ли лучше: во всяком деле возможно сведение его к остроумию или возгонка его к истине. Остроумие стремится к формальному заполнению коммуникативного пространства. Оно консервативно, потому что не меняет, не хочет менять плана содержания: все должно оставаться там, где находится. Оно, как правило, соответствует моде, устойчивости моделиобразований (но не все то золото, что блестит). Оно паразитирует на жажде людей истины (а истина всегда нова, какой бы избитой она ни казалась).

Наконец, остроумие агрессивно: всякое свечение истины оно норовит затмить своим блеском. Закон имитации: казаться, если нет возможности быть. Все это неизбежно ведет к демагогии. Вот откуда идет мнение, что литература существует за счет несовершенства языка. Ведь литература, как и любое другое искусство, располагает как раз особым языком, условно называемым континуальным. И, стало быть, тот, кто называет себя художником, должен хотя бы знать о существовании такого языка. И это обязательное условие понимания искусства вообще.

Остроумие вынуждено пользоваться обычным языком в попытке построить нечто подобное искусству: ведь всякое произведение искусства материально выражено. И если разыграть это материально выраженное (передразнить, симитировать), то можно добиться этого подобия. Все это, конечно, может быть рассчитано на не умеющих пользоваться языком искусства (как тех, кто производит, так и тех, кто потребляет). В этом есть

что-то наивное, если эту профанацию не используют в качестве насилия. А вот это-то, как правило, неизбежно. И тогда начинается следующий этап агрессивного использования остроумия: стадия объявления себя единственным языком истины. Агрессия остроумия такова, что не всякий художник способен найти в себе силы противостоять ей. И это омерзительней всего: тот, кто начинает как художник, а заканчивает как имитатор самого же себя (если не чего-либо другого). Нет более пакостного места в пространстве жизни, где смерть вылезала бы так нагло и откровенно.

Ахматова о Брюсове: он знал много секретов, но не знал тайны. Все-таки, что касается чужого творчества, то, пожалуй, он знал тайну. По крайней мере, на том среднем уровне, каким располагала тогдашняя культура. Но он не знал своей тайны. Непонимание произведения искусства связано не столько с нежеланием что-либо понимать (характерный истероидный тип: хочет быть независимым и в то же время не способен быть самостоятельным; истероидность такого толка присуща нынешней культуре; но возможен и выход из создавшегося положения вещей, может быть, выход даже виден в том, что люди оказались захвачены врасплох средствами массовой информации, не сработала защита, иммунитет; но если человек – замысел божий, то это должно измениться, человек должен воскреснуть), сколько с незнанием языка искусства, которому, как всякому языку, надо учиться. Как учится говорить ребенок: он потому и научается, что на то и создан, к тому предназначен, потенциально обеспечен. Не искусство разъединяет людей (современное или какое-либо другое), как утверждал Толстой, а остроумие, имитирующее законы искусства, которые в большинстве случаев и напридуманы этими остроумцами, остряками. Это следствие сначала попытки рационализации знания о языке искусства, а потом (другая крайность) – полного иррационализма во взгляде на искусство. И в том и в другом случае искусство (его язык) представляется как объект. А это неверно. По крайней мере, потому, что рассматривается этот объект с точки зрения языка без какой-нибудь достаточной оговоренности, что язык искусства – это нечто отличное от того, что считается обычным языком. С языка искусства, конечно, возможен перевод до какой-то степени адекватности... Но в человеке должен быть восстановлен орган восприятия этого языка.

Иначе – иллюзия того, что понимания языка искусства можно достичь путем «вздрычивания» бесконечного остроумия. Даже через насильственное постижение действительности («чтобы судьба не казалась медом»). Но «страдать надо» Достоевского тоже превращено во вполне условный знак дискретности. И это свелось к демагогии.

Все познается в сравнении – это для языка обычного. Все познается в отрицании сравнения – это уже язык искусства. И то и другое – правда, и то

и другое уживается в человеке без раздора. Когда одно не исключает другого и не превалирует.

Каждая теория, пытающаяся объяснить человека, хватается за какую-нибудь деталь его образа как за самую существенную, на которую накручивает все остальное... Человек – многогранник, а теория может увидеть только одну (редко больше) грань, в которую она входит как в картину, не доходя до корней этой картины. Если же все теории вдруг увидят разом, то человек может представиться даже не в виде многогранника, а в виде произвольно пересекающихся плоскостей, так что за ними не различишь ничего очевидного. Где суть, ядро? Религия все-таки больше стремилась к сути, эти плоскости ее интересовали постольку поскольку. Но и без этих плоскостей суть сама по себе может ускользнуть.

Душа болит, хотя в ней нет никаких нервов. Нервы болят, словно дают знать, как по их путанице добраться до души. Болят – как горят путеводные нити. Но на самом деле, это то же, что и плоскости, – к душе это не имеет никакого отношения.

Свидетельства, или видимые знаки веры... Но именно невидимое и есть наилучший свидетель... Да и само свидетельство предполагает того, кто может рассудить истца и ответчика, то есть имеется в виду так называемый высший судия, предполагается его внешнее месторасположение. А если Бог – это глубоко внутреннее обстоятельство, тогда что? Причем тут какие-то свидетели и свидетельства?





мы – толпа одного и того же

1997

* * *

Мы – толпа одного и того же
на спирту разведенного смысла.
И над нашей державной рогожей
золотящая блажь нависла.
И достанется нам по закону
то, что отдано добровольно:
или ангел допишет икону,
или крови не будет больно.

* * *

Как однажды в ночи заблажил имярек –
ни ребенок, ни ветхий старик –
день за днем, как по кругу, верстающий бег
и лицом укрывающий лик.

И не мог он пустыню засыпать песком
или спрятать ее в кулаке.
Он по лезвию страха скользнул босиком
прямо к Богу, один, налегке.

Он по собственной тени отправился вплавь –
и он так обратился к Нему:
– Называй хоть горшком, только в печку не ставь –
я и так уж в огне по уму.

Я, как жажда-вода, безымяннен с тоски
от Твоей неприцельной любви.
Дай мне имя, как русло для долгой реки.
Укажи на меня. Назови.

Если Ты и не казнь для желанной вины,
все равно Ты – еще и Отец.
Сам проснись или дай доглядеть Твои сны,
наказанием стань наконец.

И когда к имяреку пришли, грохоча,
и уже под конвоем вели,
он успел оглянуться и из-за плеча
вдруг увидел полосу вдали.

Та полоска была не лучом на реке
и не следом от мчащихся звезд,
и не трещиной на потускневшем зрачке,
а чертой, отмечающей рост.

МАЙДАН

Индийская птица, петух,
чего ты орешь на морозе
не то, чтоб в угоду угрозе,
а чтобы рассвет не потух?

Когда тебе дурь отсекут,
твой гребень взовьется над крышей –
я горлом твой голос услышу,
с которым потащат на суд.

И станет тоска площадей
изложницей вопля ночного,
сшивая надеждой суровой
в народ одиноких людей.

Кому хорошо и в аду,
не знать, что в его преисподней
кончается рай прошлогодний,
последний в истекшем году.

Пустить или дать петуха?
Вдохнуть темноту и при этом
остаться наполненным светом
горящего гневом греха?

Смотри, чтобы блажью своей
не гнал на тебя бестиарий
знаток в петушином базаре
египетский зверь – котофей.

* * *

Прыщут склоны перезрелой глиной,
синева кристаллами сорит.
Дерево и тень его былинной
невозможной бабочкой парит.
Оттого-то и гора прозрачна,
словно духом возведенный скит.
Вряд ли возраст знает однозначно,
где ему преткнуться предстоит.
Здесь покой метрического круга,
словно эту местность с двух сторон
два врага, убив в бою друг друга,
видят как один и тот же сон.
Или ангел из последней пяди,
сунув руки в рукава креста,
черноту и жар воздуха хлядя
налагает на свои уста.
Узы братства – то цветок, то битва
в пересчете на сухой песок.
Не развяжешь македонской бритвой
малой смерти тонкий волосок.

* * *

Здесь речь моя еще в ходу,
слова идут издалика –
их так же пишут на роду
и говорят наверняка.
Вода на привязи – не лед,
и связанный песок – не храм.
Мой спор с самим собой в оплот
останется немым горам.

* * *

И не в изустной молитве,
и не в учености книжной,
словно надгробие детства,
горные высятся дни –
те, что отважно шумят
и при этом стоят неподвижно,
те, что подобны деревьям,
но это совсем не они.

* * *

Рук споткнувшейся Шамбалы взмах,
взмах отброшенной шторы –
степь произносит влюбленное «ах»,
и возникают горы.
Толкаясь локтями и воздух крестя
шепотями жалящей соли –
как будто взыграло в утробе дитя
у пустопорожней неволи.
Со дна ли степного всплывает наряд
для хрупкой пасхальной скорлупки –
отсюда виднее всего Арарат,
он в клюве у тюркской голубки.
Затем и подробен по-детски обман
пространства в предвечном итоге,
что наспех стреноженный скифский курган –
всего лишь карьер у дороги.
Он вывел кочевье ковчега вовне
из тьмы минерального теста.
И ангел-хранитель, назначенный мне,
не сдвинется с этого места.
Отсюда за мною он шел по пятам
по белому свету,
пока не предстало заветное «там»,
где прошлого нету.

* * *

Снег сыплет парадоксами Вийона.
Вот пень в снегу, на нем сидит ворона
цитатой из Эдгара По.
Ей невермор, что мор во время оно,
и пень под ней – совсем не бюст Платона,
она – как повесть без приставки по.

Так кованая роза, остывая,
выносит цвет, отсутствием живая,
за скобки лика своего.
Необходимость пустоты знакома,
как поздний цвет садам металлолома,
он – только ржа, и больше ничего.

Где полночь та и где тот час угрюмый,
когда я, утомившись от раздумий
у фолианта одного,
услышу стук и в отрешенных шторах
пурпурным шелком завершенный шорох,
и гость войдет, и больше ничего.

ПО ПОВОДУ ДОН-КИХОТА

Прощай, идальго Ламаханский –
отбой победе!
На голове твоей лоханка
из Божьей меди.
Одной из ног левее правой
неравным шагом,
ты по щекам отхлестан славой,
как ветер флагом.

Ты поскользнься – и лед неровный
предстанет глазу,
споткнься – и камень безусловный
возникнет сразу.

А если ты взмахнешь руками
от пыла детства,
скажи, где мать твоя, Кехана,
и где отец твой?

И битвам, битвами воспетый,
хвалу поющий,
до детской косточки раздетый
и детством сущий,
избавлен от земного плена
надземным пленом,
ты смахиваешь пыль с колена
пред поклоненьем.

Самосветящейся заразой
единоверца
ты сходен с тыквой пучеглазой
со свечкой в сердце.
Так, в прах осенний, предстоящий, –
переселенец, –
ломает копыа лес горящий
о крылья мельниц.

Но не сыграть твоей личиной
чужих комедий.
Одеты демоны овчиной:
Аз, Буки, Веди,
пока с тобой играет в кости
пехотной миной
или заманивает в гости
бог из машины.



Когда времена проходят, они напоминают пространственные постройки: города-эпохи, отдельные домики (хижины) или помпезные дворцы, населенные теньями прошлого. Конец тысячелетия для нас заслоняется пространством XX века, то есть тем, что нам еще не кажется определенной постройкой. Скорее наоборот – руинами, чем-то выжженным, вытоптаным, проплеванным, но не заброшенным, потому что там живут и наши времена (личное время каждого), дарованные нам на однажды и навсегда.

И был затмения солнечного миг,
когда мы поравнялись в коридоре:
из медленно опущенного взгляда
вставали восхищенные глаза.

Иногда хочется, чтобы текст читался снизу вверх, чтобы глаза поднимались к небу, чтобы текст уводил к небу и небо было бы его продолжением. Хорошо и наоборот: чтобы воды были его продолжением.

Горы – в соответствии с Богом: горы свет запоминают на ночь, чтобы утром вспомнил и о них рассвет.

Оттого это небо ясное, что оно – постоянно материализуемое воспоминание о нем всех живших под ним.

Есть ли возраст в абсолюте? И какой из возрастов наиболее ему соответствует – детство, юность или какой-нибудь другой прекрасный возраст?

Предчувствие войны – в заведомой потере близких, всех тех, с кем у тебя есть общая история, даже с твоими врагами: вот по родному краю летит стрела и пулю догоняет.

Пожалуй, так: стремишься удержать смывок – он пляшет, он за руку тебя ведет, куда-то тянет; всем пальцам видна его развертка; он вьется, он разрывает то, во что облакает тебя, он входит в мир, как вечность; напрямик, как луч. Так ультразвук разваливает сталь. Нет, не то. Сильнее так: кос-

нешься ветки – им, смычком, наугад: вдруг грянет осень. Там плод готовится и прорастает двуязычный гад.

Язык искусства отличается от языка обыденного совсем простыми категориями. Только во все времена эти понятия пытались либо сблизить, либо вообще соединить, либо чуть ли не поменять местами, или же вообще отменить, оставив только то, что свойственно обыденному языку. На самом деле, это – разные вещи, каждая отвечает своим законам. Если для обыденного языка несомненно, что все познается в сравнении, то для языка искусства свойствен другой закон: все познается в отрицании сравнения. Потому что каждое произведение искусства как бы отрицает свое окружение в качестве элемента сравнительного ряда. Все очень просто: каждый предмет в обыденном языке примыкает к другому предмету посредством каких-то признаков, в которых выявляется его особенность (вот эта вещь – сама по себе, а та, другая, становится ее фоном), вместе они составляют единую цепь. То, что присуще каждому предмету сверх того, неизбежно отбрасывается. А в языке искусства важно сохранение того, что этой цепью отбрасывается. Ничего особенного в языке искусства нет – он не является языком для немногих, более того, он – свойство каждого сознания. Примеры: 1. Континуальные метонимические ассоциации в индивидуальном сознании: стихийное припоминание, свободное плавание в образах при необязательном «бесцельном» размышлении о всякой всячине, что как попало приходит в голову: видишь старушку в платке с восточным узором > Восток > география > карта > школа > учитель безрукий и т.д., – все может вернуться к какой-нибудь сильной отправной точке: опять школа > мать > дом > скворечник. 2. континуально-метонимическое течение разговора, беседы: темы сцепляются лишь ассоциативно. 3. Модели континуальных образов (черт, почерков, характерных мет): музыкальный отрывок – чей? Моцарт?

Объяснить, то есть вывести в абсолютно дискретный план невозможно. Но это и неважно, важно, что такая «модель Моцарта» существует в сознании («модель» здесь – образный строй, строй музыкальных образов). Иной раз можно и ошибиться, если какая-либо «модель» покажется чем-то сходной с другой «моделью» другого художника. Невозможно по описанию представить картину какого-либо художника, если не пытаться вызвать в сознании некую подобную, уже существующую «модель». Насколько невозможен перевод с языка искусства на язык обыденный и наоборот, показывают муки переводчиков, которым приходится переводить не просто с иностранного языка на родной (это могла бы сделать и словарная машина), а средствами своего обыденного языка на язык искусства подлинника. Парадокс? Просто язык искусства использует обыденный язык как то, что может материализовать произведение. Подобно тому как в картине главным

являются не краски, а образы. Хотя ни один художник еще не отказывался от хороших красок. То же и с теми, кто пользуется словесным материалом.

История с молнией: она буквально вынула из огромной ели узкий брусок от вершины до низа, который, конечно, рассыпался при вынимании. Обломки рейки и дранки разной длины валялись в траве на расстоянии до десяти и более шагов. Что-то произошло такое – и при этом не хватило все-таки силы, чтобы вывернуть его наизнанку. Живо ли оно до сих пор? Уже больше года прошло...

Петр – Георгий без копья. Копье Петра ушло в сына.

Аналогии: самолетик расцветает не в небе, а в скорости. Если плоть то же, что и смысл, то плоть его – скорость.

...Даже малейшее нарушение порядка слов приводит к потере гармонии (мгновенье чудное я помню). В чем тут дело? Поэт предчувствует эту гармонию, ее прообраз, даже мгновенно подбирает языковой (словесный) материал, совпадающий с планом по всем компонентам. И самый план мгновенен, потому что стихотворение – импровизация с колоссальным количеством вариантов, возможностей. Выбирается один, наиболее верный – это уже тот самый труд, о котором говорят, что его должно быть больше, чем дара. Но ведь и выбирать тоже не научишь кого попало... Это тоже дар – насколько точно выбрать вариант соответственно идеалу.

Прообраз правильно звучащей фразы...

Связь со звуковым золотым сечением...

Стихотворение может быть выстроено по принципу обратного сравнения. Не из точки идут две линии какого-либо сравнения, а к точке: попятное, возвратное движение мерностей, но не последовательное, а одновременное. Это в какой-то мере подобно контрапункту, только тот ведь не предполагает сведения музыкального повествования к точке. Или, чтобы проще понять, к черному квадрату. «Черный квадрат» Малевича – не точка и не ноль в математическом смысле, это ноль-икона, затея сатанинская, если только остановиться на этом. Произведение искусства содержит в себе и такой этап: для того, чтобы воплотить нечто в образ, нужно это нечто развоплотить с последующим воскресением, то есть провести через смерть. «Аще не умрет зерно...»

Аще не умрет. Видел я когда-то желтую дорогу: она была покрыта вытаявшей из-под снега пшеницей, рассыпанной в страду, – кузова у машин были худые. На дороге – как на смертном одре. Вот и умерла, а плод не сотворила.

Все дело в источнике света, который и тень огня делает смиренной. Вот догорит купина...

Парфенон или храм Покрова-на-Нерли – скол идеального камня, и в этом их цельность. Это – как красота, предоставленная самой себе во мраке абсолюта, а в абсолюте выжидающая толику света. Противоречие. Как только красота впадает в абсолют, она уничтожается, так как перестает быть явленной. А он бы хотел быть прекрасным и невидимым одновременно.

Исайя (10-15): «Величается ли секира перед тем, кто робит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его! Как будто палка поднимается на того, что не дерево!»

Зимой воде не больно, потому что можно гладить ее как сухую траву, чтобы она меняла цвет.

Там степь в ковylie, там пасутся морские барашки...

Улица вращается, как бок многофигурной вазы.

Наши черемухи и георгины – это их вишни и хризантемы.

Что, если ты часть Бога твоего, и она болит, и она – фантом?

Туман поднимается вверх, и это к плохой погоде. Он снимает с золотых деревьев зеленые чехлы.

Небо в алмазную овчинку.

СОДЕРЖАНИЕ

следи за мной, мой первый снег (1968)

Следи за мной, мой первый снег	13
Соломенную кладку полусвета	13
Я не ветка, я только предветвие	13
Бог Аполлон живую кожу	14
Когда умирает птица	14
Смех подошел ко мне вплотную	14
Когда покой – лишь прошлого значенье	15
Там, где снег, от беспамятства черный	16
Поэма дождя	16
Стол	17
Хотелось вынести из света	17
Стоишь одна у входа в этот лес	17

проза

Пришел поэт и рассказал	19
-------------------------------	----

внутри деревьев падает листва (1971)

Взгляд	27
Крещение	27
Баллада	28
Во дворе играют в домино	29
Контрапункт	30
Плач Иуды	31
Дождя отвесная река	32
Мелкий дождь идет на нет	32
Душа проснется, и тогда	33
Такую ночь не выбирают	34
По ходу солнца в том краю	35

Замедленное яблоко не спит	35
Так ночь пришла, сближая все вокруг	35
<i>проза</i>	
Мнимые пространства	38
<i>или смерти коснуться и глаз не закрыть (1974)</i>	
Поезд	47
Гроза	50
Концерт	52
Осень	52
Портрет	53
Соединенье этих рук равно сближению деревьев	54
Увы, уходят со стекла морозные пейзажи	54
Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий	55
Любовь, как мышь летучая, скользит	56
Это всего лишь щепоть пустоты	57
Травинка в сон вступает	57
Ты, смерть, красна не на миру, а в совести горячей	58
Дом	59
Я буду дорожить	60
Когда неясен грех, дороже нет вины	61
Тихо сердце, как осень, горит	61
Зима	62
Ода ветру	63
Джаз-импровизация	64
Вода в глазах не тонет – признак грусти	67
Прохожий	68
<i>проза</i>	
Персонаж	70
<i>море, что зажато в клювах птиц, – дождь (1978)</i>	
Море, что зажато в клювах птиц, – дождь	77
До слова	77
Мастер	79
Пустая телега уже позади	79
Бар	80
Прозрачных городов трехмерная тюрьма	81
Вдруг кованого гипса нагота	81

Мелеют зеркала, и кукольные тени	82
Орнамент	82
Рапсодия батареи отопительной системы	83
День	85
Портрет отца	86
Неон	87
Оранта	88
Клятва	90

расстояние между тобой и мной – это и есть ты (1986)

Расстояние между тобою и мной – это и есть ты	99
На Новый Год	100
Камень плывет в земле здесь или где-нибудь	101
Неразменное небо	101
Попробуй мне сказать, что я фантом	102
Где сорок сороков	104
Холмы	105
Ниша и столп	107
Жалоба игры	108
Пророки	110
И отчаянье в глазах метнется	112
Ты, как силой прилива... ..	113
Завоевание стихий	114
Плыли и мы в берегах... ..	118
Собачий вальс	119
Преображение	120
Ревность	121
Лента Мебиуса	124
Возвращение	124
Если птица – это тень полета	125
Гора	126
Область неразменного владенья	127
Двери настезь... ..	128
Восхождение	128
В пустоту наугад, обоюдоогромный	129
Письмо	130

проза

Повторение или воскресение	132
----------------------------------	-----

вечность – миг, неспособный воскреснуть давно (1993)

Тихий ангел – палец к губам – оборвет разговор	141
Арестованный мир	141
Я не лунатик, я ногами сплю	143
Как душу внешнюю, мы носим куб в себе	143
Этот город – просто неудачный	144
На этой воле, где два простора	144
На цветочных часах паучка притаился отвес	145
Весною сад повиснет на ветвях	146
Пойдем туда дорогой колеистой	146
Кости мои оживут во время пожара	147

проза

Человек-арестант или вещь-арестант	150
--	-----

мы – толпа одного и того же (1997)

Мы – толпа одного и того же	161
Как однажды в ночи заблажил имярек	161
Майдан	162
Прыщут склоны перезрелой глиной	163
Здесь речь моя еще в ходу	163
И не в изустной молитве	164
Рук споткнувшейся Шамбалы взмах	164
Снег сыплет парадоксами Вийона	165
По поводу Дон-Кихота	165

проза

Когда времена проходят	168
------------------------------	-----

